АРТУР ДУНАЕВ



РОВНОСТЬ ДУХА

Aequanimitas

РОМАН О МАРКЕ АВРЕЛИИ

Артур Дунаев

Ровность духа. Aequanimitas
Роман о Марке Аврелии

https://litres.ru/74795769
SelfPub; 2026

Аннотация

Император Марк Аврелий ночами на Дунае записывает мысли, которые станут «Размышлениями». Роман о чуме, войне, предательстве и о том, как оставаться человеком, когда у тебя власть над половиной мира. Для тех, кому близки «Камо грядеши», «Я, Клавдий» и «Мемуары Адриана».

Содержание

Глава 1	4
Глава 2	6
Глава 3	12
Глава 4	20
Глава 5	28
Глава 6	37
Глава 7	46
Глава 8	55
Глава 9	63
Глава 10	69
Глава 11	74
Глава 12	80
Глава 13	86
Глава 14	91
Глава 15	97
Глава 16	113
Глава 17	119
Глава 18	125
Глава 19	131
Конец ознакомительного фрагмента.	141

Артур Дунаев
Ровность духа. Aequanimitas
Роман о Марке Аврелии

Глава 1

От автора

Эту книгу я написал из восхищения.

Марк Аврелий был императором самой большой державы своего времени. Он воевал, судил, хоронил детей и брата, терял близких и каждую ночь, на чужих берегах, записывал для себя несколько строк о том, как не потерять человеческое лицо. Эти записи дошли до нас: небольшая книга, которую обычно называют «Размышлениями». Всё остальное в основном исчезло. Мы знаем даты, битвы, указы и слухи, но почти не знаем самого человека: как он смеялся, чего боялся, за что себя корил.

До нас дошли лишь самые малые его мысли. Я искал книгу, которая попыталась бы хоть приблизительно переосмыслить его личность и его жизнь, и не встретил такой. Тогда мне, как автору, захотелось хотя бы в малой доле реконструировать некоторые события, из которых эти мысли могли вырасти: детство в доме Адриана, смерть Антонина, чума,

смерть брата, потерянная армия, измена Кассия, смерть Фаустины.

Поэтому «Ровность духа» написана так, будто Марк сам вспоминает свою жизнь по ночам на Дунае. Я старался держаться истории. Там, где источники молчат, я додумывал, и в конце книги честно перечислил по главам, что здесь правда, а что вымысел, чтобы читатель мог всё проверить.

Работая над книгой, я сам стал чуточку ближе к пониманию этой личности и бытия тех времён: мира, где хлеб значил больше речей, где чума приходила вместе с армиями и где у императора не было права ни на отпуск, ни на слабость.

Я надеюсь, что читатели, знакомые с мыслями Марка, окунутся в ту эпоху и узнают знакомую интонацию. А те, кто его записей никогда не читал, откроют для себя этого человека. И если после этой книги кто-то возьмёт в руки «Размышления», а потом Эпиктета, Сенеку, Музония Руфа и других стоиков и пойдёт дальше к самому стоицизму, я буду считать, что книга сделала всё, что могла.

Артур Дунаев

Глава 2

Глава 1. Слово ночи

Записано на реке Грон, в земле квадов. Врач велит мне спать. Я не слушаю врачей по ночам.

Ночью на Дунае слышно всё: как течёт вода, как шепчутся часовые, как где-то далеко воет волк. Я слышу это годами и не могу привыкнуть. Рим шумел иначе. Но когда я закрываю глаза, я слышу не Дунай и не Рим. Я слышу тишину виллы в Лории, и в этой тишине один голос, старый и спокойный, говорит одно слово.

Начну с него.

* * *

Это было в марте. Мне оставалось полтора месяца до сорока лет, а ему было семьдесят четыре.

Антонин Пий жил в Лории, в двенадцати милях от Рима, по Аврелиевой дороге. Он любил это место: здесь он вырос, сюда он сбегал от сената, как другие сбегают от долгов. Дом был старый, с тёмными балками, с запахом дыма и мокрой глины. Он сам следил, чтобы к столу не подавали лишнего.

В тот вечер подали сыр. Горный, альпийский, жирный и острый. Он съел немного, как всегда. Ночью его вырвало. К утру начался жар.

Я не придал этому значения. В семьдесят четыре года желудок обижается на всё. Врачи тоже не придали. Это была

наша общая ошибка, одна из тех, что делают люди, когда не хотят верить.

На третий день он велел собрать всех.

* * *

Мы вошли: префекты, несколько друзей, я. Комната была маленькая. Окно открыто, потому что он не выносил духоты. Он лежал на спине, лицо жёлтое, сухое, как пергамент, и смотрел в потолок.

Я смотрел на него и думал о том, что всю жизнь живу в его тени. Это не упрёк. Тень бывает прохладной.

Он никогда не был похож на императоров, которых лепят скульпторы. Не любил золота, не любил лести, не любил, когда перед ним ползают. Его любили за то, что он был скучным в том смысле, в каком скучно хорошее здоровье. Двадцать три года он правил так, что о нём почти нечего рассказать: ни побед, достойных поэмы, ни казней, достойных трагедии. Рим при нём просто жил. Я потом много думал о том, как редко это удаётся.

Он повернул голову и посмотрел на меня.

Мне было семнадцать, когда умирал другой император, Адриан, злой, умный, больной. Перед смертью он усыновил Антонина при одном условии: Антонин усыновит меня и Люция, сына Цейония Коммода. Хитрая арифметика старика: двое мальчиков про запас. Адриан звал меня Веррисимусом, Правдивейшим, и я не знал, шутка это или приговор. Я слишком рано понял, что значит быть мальчиком, о котором

уже всё решили.

Я не хотел власти. Я хотел книг. Фронтон учил меня красиво говорить, и я любил его, как любят красивую одежду. Рустик, мой другой учитель, однажды сунул мне в руки записи речей бывшего раба, философа из Никополя, по имени Эпиктет и сказал: «Читай и не болтай». Я прочёл. Это была первая книга, которая посмотрела на меня в упор.

С тех пор я знал, чего хочу. Жить тихо, думать, учиться владеть собой. А меня готовили к другому.

* * *

Он заговорил тихо, но слышно было каждое слово. Государство, сказал он, теперь принадлежит мне. Не как подарок, а как долг. Он не поучал и не завещал, он просто передавал, как передают тяжёлый предмет: чтобы тот, кто принимает, понял вес.

Потом он приказал вынести из своей спальни золотую статую Фортуны. Её всегда держали у ложа императора, как талисман. Двое слуг подняли её и понесли. Они понесли её ко мне.

Я смотрел, как золото проплывает мимо окна, и думал: вот и всё. Так просто. Не выборы, не сражение, не сенатский возглас. Двое слуг и статуя.

К вечеру он попросил повернуть его к окну. Было холодно, пахло дымом и весной.

Дверь тихо открылась. На пороге стоял молодой трибун ночной стражи. Лет двадцати семи, широкоплечий, с лицом,

на котором усталость уже начала выигрывать у выправки. Я его не знал. Он стоял так, как стоит человек, которого учили не смотреть на то, чего видеть нельзя.

Это был Гай Корнелий Руф. Тогда я ещё не запоминал имён стражи.

Трибун шагнул вперёд и по обычаю спросил:

– Какое слово на ночь, император?

Каждую ночь император даёт страже слово. Пароль. Он меняется: «Победа», «Верность», «Согласие». Самый простой ритуал власти, какой я знал.

Антонин приподнялся на подушке. Мы замерли. Он посмотрел на трибуна и произнёс:

– Aequanimitas.

Ровность духа. Невозмутимость.

Трибун, кажется, не сразу понял. Потом чуть склонил голову, повторил слово шёпотом, как повторяют молитву, и вышел. Я слышал, как за дверью он передаёт слово стражникам, и слово идёт по коридору, по двору, по лагерю.

Антонин повернулся на бок, лицом к стене, как человек, который собирается спать. Он и правда уснул. Он не проснулся.

Я стоял и думал: он знал. Он выбрал последнее слово, как выбирают последнее блюдо. И выбрал его не для стражи. Для меня.

* * *

Тело он оставил на заботу жрецов. Я оставил в Лории

часть себя, которую не умею назвать. Через день мы въехали в Рим.

Сенат собрался в курии. Белые тоги, тихое шуршание старых людей, которые все знали, чего хотят. Они хотели меня. Одного. Они вставали, говорили долгие речи, называли меня Августом, и слова их были тёплыми, как масло. Среди этих лиц я искал хоть одно, которое не лгало бы, и не нашёл.

Я встал и сказал, что приму власть, только если вместе со мной её примет мой брат Люций.

Тишина была такой, что я слышал, как у кого-то скрипнула кожа башмака.

Никогда прежде в Риме не было двух равных императоров. Были соправители, наследники, помощники. Равных не было. Сенат пошептался, как шепчется стая птиц при перемене ветра, и согласился. Они всегда соглашаются. Я оставил себе одно: жреческий сан верховного понтифика. Всё остальное мы делили поровну.

* * *

Люция я нашёл в его доме. Он встретил меня у ворот, с кубком в одной руке и с краской на пальцах другой: он только что смотрел, как расписывают колесницу для будущих игр. Ему было тридцать. Он был красив той красотой, которую не нужно заслуживать, и знал это. Он любил охоту, цирк, гладиаторов, музыку, друзей, вино и всё, что я любил меньше, чем книги.

Он был мне брат не по крови, а по решению мёртвых. Но

я любил его. Не так, как любят равного. Так любят ту часть жизни, которой сам не позволяешь себе.

– Брат, – сказал я. – Умер отец.

Он поставил кубок. Побледнел. Помолчал.

– Я знал, что это будет скоро, – сказал он. – Но не думал, что так.

Мы стояли друг напротив друга. Потом я сказал:

– Теперь нас двое.

– Двое кого?

– Августов.

Он засмеялся. Подумал, что я шучу. Я смотрел на него и не улыбался.

– Ты не шутишь, – сказал Люций.

– Я никогда не шучу.

Он посмотрел на меня долгим, странно трезвым взглядом.

– Это хуже, чем я думал, – сказал он.

Я не знал, что делаю. Подарок это брату или приговор нам обоим. Позже я понял, что верны оба ответа.

В ту ночь я не спал. Лежал и повторял слово, которое слышал в Лории. Aequanimitas. Я тогда не знал, что оно станет уроком на всю оставшуюся жизнь. Мне предстояли чума, война, предательство и могилы. Мне предстояло учиться этому слову каждый день.

Я учусь до сих пор.

Глава 3

Глава 2. Плащ философа

Мне было двенадцать, и я решил, что мой дом слишком мягкий.

Дом стоял на Целии, большой, тихий, с садом, в котором дед годами выращивал одни и те же груши. После смерти отца я жил у деда, а мать жила в соседнем крыле и приходила ко мне по вечерам, как приходят проверить, на месте ли драгоценность. Её звали Домиция Луцилла. У неё были кирпичные мастерские на Тибре, склады, кораблики с глиной, и мне говорили, что она богаче многих сенаторов. Она носила простые платья и считала каждую монету, и это всегда казалось мне красивым.

Учителей у меня было много. Один учил грамоте, другой стихам, третий считать. Они приходили по очереди, пахли чернилами и уходили, а я оставался тем же мальчиком. Потом появился Диогнет.

Он был живописец. Худой, смуглый, с вечно измазанными охрой пальцами, и сразу сказал мне, что рисует хуже, чем думает, и думает хуже, чем живёт. Я не понял тогда, шутка это или правда. Он учил меня рисовать, и на третьем уроке вместо кисти дал мне книгу. Греческую, без картинок.

– Читай вслух, – сказал он. – Если слов не понимаешь, значит, они что-то значат.

Я читал. Это были диалоги. Люди сидели в тени, разговаривали о том, как жить, и ни один не торопился. Я пришёл домой и не мог есть. Мне казалось, что я вдруг увидел комнату, в которой жил всю жизнь, и заметил, что в ней нет окон.

* * *

Через месяц я надел плащ.

Грубый, серый, греческий, как носят философы. Я купил его сам на рынке у Эмилиева портика на деньги, которые копил на книги. Торговец, горбатый старик с одним глазом, долго смотрел на меня, на мою тогу с красной каймой, и спросил, не для спектакля ли.

– Нет, – сказал я.

– Тогда зря, – сказал он. – В нём холодно.

Я не обиделся. Я решил, что он ничего не понимает.

Дома я не показался никому. Спрятал плащ под тунику и стал ждать ночи. Потом велел слугам убрать из моей комнаты кровать с пуховым тюфяком и принести три доски. Те переглянулись, но принесли: к этому времени в доме привыкли, что мальчик, которого Адриан зовёт Правдивейшим, иногда просит странного.

Я лёг. Доски были жёсткими, и ночью я не спал. Я лежал, смотрел в потолок и чувствовал, что становлюсь лучше. Каждый час казался мне подвигом.

Утром, в шесть, пришла мать.

Она остановилась на пороге. Я лежал на досках, закутанный в плащ, и сердито смотрел в потолок, чтобы она не по-

думала, что мне не по себе. Она посмотрела на плащ, на доски, на пустое место, где стояла моя кровать. Лицо у неё не изменилось.

– Ты не выспался, – сказала она.

– Я выспался.

– Нет.

– Мама, философ не должен быть изнежен.

– Я знаю, – сказала она. – Позавтракай, пожалуйста.

Она ушла. Я остался, довольный и несчастный одновременно, как бывают довольны и несчастны люди, которых не заметили в самый важный момент.

* * *

Это длилось месяц.

Я привык. Я научился лежать так, чтобы доска не давила под лопатку, научился надевать плащ быстро, чтобы не мёрзнуть. Я гордился. Гордость, надо сказать, согревала лучше плаща.

Только кашель не проходил. Он появился на третьей неделе, сухой, тихий, и я не обращал на него внимания. Философ не обращает внимания. Я ходил на уроки, читал вслух, спорил с Диогнетом, и за столом у деда тоже кашлял, прикрывая рот ладонью. Дед ничего не говорил. Он был старик, знавший, когда говорить, а когда нет. Он только смотрел на мою тунику, торчащую из-под плаща, и вздыхал.

Однажды вечером ко мне пришёл Диогнет.

Я лежал и читал. Он сел на пол рядом, отодвинув мои сан-

далии, и долго рассматривал доски.

– Это ты сам придумал? – спросил он.

– Вы сказали, что...

– Я сказал, что философу стоит быть готовым к неудобству. Я не сказал, что неудобство надо коллекционировать.

Я растерялся.

– Но Антисфен...

– Антисфен жил, как жил, – сказал Диогнет. – А ты живёшь, как Антисфен, чтобы все видели, что ты живёшь, как Антисфен. Это разные вещи. Первое называется философией. Второе называется театром. И то, и другое можно играть, но зрителю лучше знать, на что он смотрит.

– Нет зрителей.

– Есть, – сказал он. – Ты сам. И мама, которая ходит мимо двери и слушает, как ты кашляешь.

Я замолчал. Он поднялся, отряхнул колени.

– Я не говорю, что ты не прав, – сказал он, уже с порога. – Я говорю: проверь, кому ты служишь, доске или себе.

Он ушёл. Я долго лежал, глядя на трещину в потолке. В тот вечер кашель был сильнее обычного.

* * *

На следующее утро дед позвал меня в сад.

Он был невысокий, сутулый, с большими ладонями, которые всю жизнь держали то меч, то судейский жезл, а к старости перешли на садовые ножи. Три раза консул, префект города, друг двух императоров, он любил только одно занятие:

прививать груши. Я знал это и всё равно удивился, когда он, не говоря ни слова, протянул мне нож и кусок мягкой коры.

– Держи, – сказал он. – Дикий побег срезаешь косо. Вот так.

Я срезал. Получилось криво. Он взял, поправил, показал снова. Потом привязал побег к стволу полоской лыка, и я заметил, что завязал он не туго, оставив между лыком и корой щель в палец шириной.

– Почему не затянуть? – спросил я.

– Потому что он будет расти.

Я кивнул, как кивают, когда не хотят показать, что ничего не поняли. Дед посмотрел на мой плащ, торчавший из-под туники, на круги под глазами, и ничего об этом не сказал. Он вообще не любил говорить о том, что видно. Только вытер руки о фартук и вернулся к дереву.

– Деревья, – сказал он наконец, – не слушают объяснений. Им нужно, чтобы кто-нибудь знал, сколько воды и сколько места.

Больше в то утро он не сказал ничего. Но в тот вечер, вернувшись домой, я не стал расстилать доски сразу, а посидел немного у окна. И кашлял тише.

* * *

Ночью я проснулся от того, что мне тепло.

Не сразу понял, где я. Доски были под спиной, плащ на плечах, но поверх плаща лежало что-то лёгкое и мягкое. Я открыл глаза. Рядом, в свете маленькой лампы, сидела мать.

Она расстилала на досках козью шкуру, осторожно, чтобы не разбудить. Просто положила, и теперь поправляла край у моего плеча, как поправляют одеяло на спящем ребёнке.

Я мог притвориться, что сплю. Я хотел. Но кашель выдал меня.

– Мама, – сказал я. – Не надо.

– Не надо что?

– Жалеть меня.

– Я не жалею, – сказала она. – Я укрываю.

– Это одно и то же.

– Нет, – сказала она. Помолчала. – Жалеют тех, кого считают слабыми. А укрывают тех, кого любят. Ты можешь лежать на своих досках, сколько тебе нужно. Я не стану тебя переучивать. Но не проси меня смотреть, как ты кашляешь, и делать вид, что ничего не слышу.

Я хотел сказать, что она ничего не понимает. Что в философии нет места мягким вещам. Что Антисфен, и Диоген, и сам Сократ ходили босиком по афинским камням.

– Сократ был женат, – сказала мать. – У него была жена, которая приносила ему тёплое. Об этом тоже написано в книгах.

Я замолчал. Я не знал, что об этом написано.

– Я прочла, – сказала она. – Пока ты был в школе. Хочешь знать, что я поняла?

Я кивнул.

– Что я не философ. А ты ещё не знаешь, кто ты.

Она встала, поцеловала меня в лоб, сухо, как целуют человека, который уже не совсем ребёнок, и вышла. Шкура осталась. Я лежал под ней и чувствовал, как по телу идёт тепло. Это было несправедливо. Это было очень хорошо.

* * *

Я спал на досках ещё много лет. С козьей шкурой. Мать никогда больше не заходила ночью, но по утрам, когда я выходил, шкура всегда была чуть поправлена.

Диогнет вскоре уехал. Он не простился, оставил записку на греческом: «Рисуй хотя бы иногда. Плащ тебе идёт». Я долго носил эту записку в складках тоги. Потом потерял. Но слова помню.

Правдивейшим меня прозвали раньше, чем я надел плащ, и не за философию, а за грибы.

Мне было лет восемь. Дед позвал меня к столу, где сидели гости, и среди них человек с короткой курчавой бородой и тяжёлым взглядом. Мне сказали, что это император. Он оглядел меня, как оглядывают лошадь.

– Скажи, мальчик, – спросил он, – как тебе грибы?

На блюде лежали грибы, жирные, в соусе. Император, по слухам, их любил. Все смотрели на меня.

– Невкусные, – сказал я.

За столом стало тихо. Дед побледнел. Кто-то поспешил объяснить, что мальчик ещё не умеет оценить редкое блюдо.

Адриан не смеялся. Он подождал, потом отломил кусочек, пожевал и так же серьёзно сказал:

– Он прав. Повар сегодня был пьян.

За столом выдохнули. Адриан откинулся на ложе и ещё раз посмотрел на меня тем взглядом, в котором было больше любопытства, чем тепла.

– Мы тебя запомним, Правдивейший, – сказал он.

Так я получил имя. Это была игра слов: наша фамилия Верус, а «веррисимус» значит «правдивейший». Император шутил. Мне потом много лет приходилось соответствовать шутке.

Мать, когда ей рассказали, сказала только:

– Хорошо. Но в следующий раз скажи то же самое тише.

Глава 4

Глава 3. Похвала пыли

Фронтон лежал на ложе с забинтованной ногой и ел виноград.

Это была первая картина, которую я запомнил, придя к нему на урок. Я принёс тетрадь, чернильницу и три дня подготовки, и в голове у меня была торжественная фраза о том, как прекрасна речь, украшающая государство. Я успел произнести половину.

– Подожди, – сказал он. – Сядь. Ты когда-нибудь видел пыль?

– Простите?

– Обыкновенную пыль. На дороге, на подоконнике, на сандалиях. Видел?

– Видел.

– Тогда скажи, что ты о ней думаешь. Только честно.

Я задумался. Передо мной был самый знаменитый оратор Рима, друг императорского дома, человек, которого сенаторы приглашали на суд, чтобы выиграть дело одним словом. Он лежал с больной ногой, жевал виноградину и смотрел на меня тёмными африканскими глазами, в которых плясали искры. Родом он был из Цирты, из Нумидии, и в речи у него до сих пор проскальзывали чужие закругления гласных.

– Пыль мешает, – сказал я.

– Ещё.

– Она грязная. Она оседает на книгах.

– Ещё.

– Она напоминает, что всё рассыплется.

Фронтон выплюнул косточку в чашу.

– Вот это уже что-то. Домашнее задание: написать похвалу пыли. Две страницы. К следующему приходу. И дым тоже хвали, если останется время.

– Зачем?

– Затем, что хвалить достойное любой дурак умеет, – сказал он. – А ты попробуй похвалить то, что никто не хвалит, и заставить слушателя согласиться. Тогда я скажу, что ты знаешь, как устроено слово.

* * *

Я хвалил пыль три вечера.

Это было хуже любой философии. Я писал, перечёркивал, переписывал. Пыль оказывалась скучной, смешной, ничтожной, и никак не хотела становиться достойной. Я дошёл до того, что стал ходить по дому и разглядывать подоконники, пока мать не спросила, не заболел ли я.

На четвёртый день я написал. Не знаю как. Просто представил, что пыль была когда-то горой, и храмом, и телом человека, которого любили. Что всё, что мы видим, когда-нибудь осядет на чью-нибудь сандалию, и нас смахнут рукавом. Писал серьёзно и, кажется, красиво.

Фронтон выслушал, лёжа с закрытыми глазами. Когда я

закончил, он помолчал.

– Недурно, – сказал он. – Только ты не похвалил пыль. Ты погрустил над ней. Это разные вещи. Грусть в пыли каждому понятна. А вот радость...

– Радость?

– Конечно. Пыль забирается всюду, не спросив разрешения. Попробуй придумать, чему она радуется.

– Но она же...

– Не думай, что она, – перебил он. – Думай, что ты.

Я сидел и смотрел на него. Потом рассмеялся. Это вышло само: вдруг показалось смешным, что я, будущий император, сижу и придумываю, чему радуется пыль.

– Вот, – сказал Фронтон. – Это первое честное чувство за три дня. Теперь пиши.

Я написал. На этот раз получилось смешно: пыль, которая летит в глаза консулам, пробирается под тоги сенаторов и осядет на самом роскошном алтаре, не заплатив ни асса. Фронтон слушал, и плечи у него тряслись, а нога подёргивалась на ложе так, что чаша с виноградом поехала по столу.

– Отлично, – выдохнул он, вытирая слёзы. – Ты понимаешь, мальчик? Вот что значит слово. Не украшение. Рычаг. Он не поднимает груз, он показывает, где его брать.

* * *

Я полюбил его. Это можно сказать просто: полюбил. Не как отца, потому что отец у меня был мёртвый, а дед был дед. Не как брата, потому что у меня не было братьев. Скорее как

человека, который открыл окно в комнате, где я жил.

Мы писали друг другу письма. Теперь, на Дунае, когда я читаю в памяти обрывки этих писем, мне становится смешно и больно одновременно.

«Привет, мой дорогой учитель, – писал я. – Мы здоровы. Я мало спал из-за кашля, который, кажется, уже прошёл. Читал Целия в полях, потом ужинали. Мать просила передать вам привет. Если можно, пришлите мне что-нибудь из вашего: хоть одну страницу. Я без вас пропадаю».

Он отвечал длинно, шумно, с шутками на трёх языках. Жаловался на подагру, на ногу, на плечо, на шею, на жену, которая запретила ему ночные чтения. Хвалил меня так щедро, что я краснел, читая при свете лампы. Называл «моим дорогим Марком», «моим сладчайшим», «лучшим из учеников, потому что единственным». Писал, что я самый одарённый из всех, кого он учил, и что, если боги хоть немного справедливы, они отдадут мне не только красноречие, но и время, чтобы им пользоваться.

Я хранил эти письма в сундуке с вещами, которые не показывают никому. Фаустина однажды нашла их и прочла, лёжа на кровати, с лицом, которого я не мог понять.

– Он тебя любит, – сказала она.

– Конечно. Он мой учитель.

– Нет, – сказала она. – Не как учитель. Как человек, которому повезло.

Я не знал, что ответить. Она положила письма назад и

больше не говорила об этом.

* * *

В двадцать пять лет я сделал то, что сейчас вспоминаю с чувством вины.

Мне попала в руки книга. Не философская, а странная: короткие беседы Аристона, давнего ученика Зенона, о том, как жить. Я читал её в Лории, у окна, в полутёмной комнате. На третьей странице что-то во мне щёлкнуло, как замок.

Речь шла о том, что красноречие не делает человека лучше. Можно говорить, как Демосфен, и жить, как свинья. Можно подбирать слова и не знать, что они значат. Можно хвалить пыль так, что слушатели заплачут, и не заметить, что в соседней комнате умирает мать.

Я вспомнил свои письма. Свои речи. Эту радость, с которой я лепил фразы, как женщины лепят лепёшки. И испугался. Я понял, что восемь лет учился делать так, чтобы слова звучали красиво, и ни разу не спросил, верны ли они.

В ту же ночь я написал Фронтону.

Это было самое трудное письмо в моей жизни. Я переписывал его шесть раз. В последний вариант вошли такие слова: «Я читал Аристона и чувствую, что должен выбрать. Я не хочу отказываться от слова, которое вы мне дали. Но, кажется, я не могу больше заниматься только им. Простите меня, если можете. Я не уйду от вас. Я просто пойду дальше».

Запечатав письмо, я долго сидел, глядя на воск. Потом отправил.

Ответ пришёл через неделю.

* * *

Он был длинный. Фронтон писал, что болен, что нога особенно беспокоит его после моего письма, что левая рука не слушается, а правая слушается слишком хорошо и поэтому он, вопреки врачам, продиктует мне всё, что думает.

Он писал, что красноречие не враг философии, а её слуга. Что Аристон был великий человек, но он, Фронтон, видел много философов, которые говорили на ужинах так, что хозяева выставляли их за дверь. Что мысль, не нашедшая слова, умирает у порога. Что я, цезарь, не имею права быть неумелым. Что боги дали мне ум и слух и было бы расточительством оставить слух без дела.

Писал он страниц шесть. Я читал, и сердце у меня стучало всё сильнее: не от обиды, а от стыда. Он был прав почти во всём. И всё же я знал, что не вернусь.

В самом конце, на последней странице, почерк стал мельче и неровнее.

«Но я тебя понимаю, – написал он. – Я сам когда-то выбирал между словом и жизнью и выбрал слово. Не знаю, правильно ли. Теперь вижу, как ты выбираешь жизнь, и не могу злиться. Я сержусь, это да. Но сержусь не на тебя, а на то, что ты оказался прав, а я нет. Приходи ужинать в среду. Жена приготовит рыбу. Принеси что-нибудь Аристоново, я прочту. Только не читай мне вслух: у тебя от философии голос становится занудным».

Я прочитал последнюю строчку и рассмеялся. Потом заплакал. Потом пошёл ужинать.

* * *

Рыба была сухая.

Жена Фронтона, Грация, женщина строгая, с лицом императрицы и руками прачки, поставила блюдо на стол и сказала, что рыба сегодня решила держаться философских взглядов. Фронтон закашлялся в салфетку. Мы сидели втроём за столом, ели сухую рыбу, и он, не поднимая глаз от тарелки, спросил:

– Ты прочёл Аристона до конца?

– Да.

– И что ты вынес?

Я задумался.

– Что нельзя полагаться на слова.

– А на что можно?

– Не знаю.

– Отлично, – сказал Фронтон. – Это первый разумный ответ, который я от тебя слышу. Теперь можешь начинать.

Он положил в рот кусок рыбы, поморщился и добавил:

– Только пиши мне. Хотя бы про погоду. Ты не представляешь, как скучны люди, которые только и делают, что отвечают на мои письма.

Я писал ему почти тридцать лет. Про погоду. Про кашель. Про детей, про войны, про книги. Он умер раньше меня, и я до сих пор иногда ловлю себя на том, что в голове склады-

ваются фразы, которые ему бы понравились. Длинные, с хорошим глаголом в конце.

Я обещал ему не делать их философскими. Не всегда получается.

Глава 5

Глава 4. Учитель не ходит к ученику

Гонец вернулся без Аполлония.

Это случилось в год, когда мне исполнилось двадцать два. Антонин, мой приёмный отец, решил, что цезарю нужен настоящий философ. Не болтун из тех, что толпятся на форуме, а человек, у которого слово и жизнь сидят за одним столом. Ему назвали Аполлония из Халкедона: стоик, старый, строгий, живущий скромно, ничего не берущий лишнего. Антонин послал за ним, как посылают за врачом: быстро, учтиво, с лошадьми.

Гонец вернулся на третий день. Пыльный, мрачный, с письмом, которое держал двумя пальцами, как дохлую мышь.

– Он не придёт, – сказал гонец.

– Заболел? – спросил Антонин.

– Нет, цезарь. Он здоров. Он сказал: учитель не ходит к ученику, ученик ходит к учителю.

Мы сидели в малой столовой: Антонин, я, пара друзей, перед нами остывала рыба. Все ждали грозы. Император не любил, когда ему отказывали. Но он любил, когда с ним говорили прямо.

Антонин взял письмо, повертел и вдруг рассмеялся. Тихо, одним уголком рта.

– Вот это да, – сказал он. – Значит, ему проще приехать из Халкедона в Рим, чем дойти от своего дома до моего?

Все засмеялись. Только я остался серьёзным. Я думал о том, что человек, который отказывается идти к императору, видимо, знает, что делает. И что мне придётся идти к нему.

* * *

Он жил на Авентине, в двух комнатах над красильной мастерской. Пахло краской, шерстью и варёной капустой. Лестница была крутая, ступеньки скрипели, на втором пролёте я наступил в лужу неизвестного происхождения.

Я пришёл без свиты. Антонин настаивал, чтобы со мной шли двое слуг, но я сказал, что у философа нечего делать со слугами. На деле мне просто было стыдно.

Аполлоний открыл сам. Невысокий, жилистый, лет шестидесяти, с короткой седой бородой, в простом сером хитоне, подпоясанном верёвкой. Он оглядел меня с головы до ног, как оглядывают незнакомый инструмент.

– Цезарь, – сказал он.

– Учитель.

– Садись.

Он показал на пол. Единственная скамья была занята свитками.

Я сел. На полу, на циновке, в тоге с красной каймой, посреди чужой комнаты. Рядом сидел кот и смотрел на меня с таким презрением, какое бывает только у котов и философов.

– Рассказывай, – сказал Аполлоний, садясь напротив.

– Что?

– Что ты знаешь.

Я начал. Я говорил о Зеноне и Хрисиппе, об Аристоне, о Музонии. Говорил красиво, длинными периодами, как учил Фронтон. Использовал слова, которые сам не очень понимал, и вставлял греческие цитаты. Минут десять я чувствовал себя блестяще.

Аполлоний слушал, скрестив руки. Потом спросил:

– У тебя есть отец?

– Приёмный. Антонин.

– Он здоров?

– Да, слава богам.

– А если завтра умрёт?

Я замялся. Это был не тот вопрос, который задают на уроках.

– Я буду скорбеть.

– Это естественно. А что ещё?

– Я постараюсь не потерять достоинства.

– Достоинства, – сказал он. – А если он не умрёт, а предаст тебя?

– Я...

– А если ты сам предашь кого-нибудь? А если упадёшь с лошади и сломаешь ногу? А если жена скажет, что тебя разлюбила?

Я молчал. Он смотрел на меня без насмешки.

– Ты говоришь о Зеноне, как о городе, в котором бывал проездом, – сказал он. – А я спрашиваю, где ты живёшь.

* * *

Это был первый урок. Следующий был такой же.

Он никогда не говорил, как надо жить. Он спрашивал, и когда я отвечал красиво, снова спрашивал, пока красота не кончалась. Я приходил на Авентин три раза в неделю, садился на пол рядом с котом и каждый раз чувствовал, что меня сдирают по слою, как кору с дерева.

Он ничего у меня не брал. Ни денег, ни подарков, ни лести. Когда император через слуг прислал ему кошель, Аполлоний принял его, поблагодарил и положил на подоконник. Кошель пролежал там неделю. Потом Аполлоний отдал его соседке, у которой заболел ребёнок. Мне он рассказал об этом без гордости, как рассказывают о стирке.

– Почему не отказались? – спросил я.

– От чего? – не понял он.

– От денег. Это же император.

– Император дал, – сказал Аполлоний. – Я взял. Отказаться значило бы показать, что я лучше императора. А я не лучше. Просто мне это не нужно.

Он помолчал.

– Запомни одну вещь, цезарь. Брать не стыдно. Стыдно, когда берёшь и тебя берут.

Я долго не понимал, что он имел в виду. Потом начал понимать.

* * *

Месяца через четыре я поссорился с Рустиком.

Рустик, Квинт Юний Рустик, был старше меня лет на двадцать и жил в нашем кругу как вечный упрёк: сухой, прямой, с быстрыми глазами и манерой замечать то, чего никто не хотел показывать. Он был стоик не по книгам, а по привычке. Говорил мало, и каждое слово у него вылетало, как стрела.

Однажды я прочитал при нём речь, которую писал неделю. Хорошую, как мне казалось: с красивыми оборотами, с пафосом, с хорошим финалом. Я ждал похвалы. В комнате сидело человек шесть: друзья, придворные. Все кивали.

Рустик кивнул последним.

– Красиво, – сказал он.

Я почувствовал, как внутри что-то согрелось.

– Но это не ты, – добавил он.

– Что?

– Ты не так думаешь. Ты придумал, как надо думать, и написал, как будто думаешь. Это называется «для вида».

В комнате стало тихо. Кто-то отвёл глаза. Я почувствовал, как лицо наливается жаром.

– Вы много на себя берёте, – сказал я.

– Я говорю то, что вижу.

– А я цезарь.

Это была глупость. Я понял это в тот же миг, как произнёс. Но слово вылетело, и вернуть его было нельзя.

Рустик не изменился в лице. Он только поклонился, ко-

ротко, как кланяются слуги, и сказал:

– Конечно, цезарь.

И вышел.

* * *

Я не спал всю ночь.

Я лежал на досках, на козьей шкуре, и злился. Злился на Рустика, который посмел. На себя, который не сдержался. На всех, кто видел. Потом злость кончилась, остался стыд, и это было хуже.

Утром я пошёл к Аполлонию. Он сидел на полу, чинил сандалию, и кот спал у него на коленях.

– Ты не в духе, – сказал он, не поднимая головы.

– Я поссорился с Рустиком.

– Из-за чего?

Я рассказал. Он слушал, продолжая чинить. Когда я закончил, он вытащил иглу и спросил:

– Ты хочешь, чтобы я сказал, что ты прав?

– Нет.

– Тогда зачем пришёл?

– Не знаю.

– Знаешь, – сказал он. – Ты пришёл узнать, как исправить. Это уже хорошо. Теперь скажи, что именно ты сломал.

Я задумался.

– Его доверие.

– Нет. Доверие у него осталось. Он потому и сказал тебе правду, что доверял. Ты сломал другое.

– Что?

– Свою уверенность, что ты можешь слушать, – сказал Аполлоний. – Ты думал, что готов принимать правду. А оказалось, что готов принимать её только в красивой обёртке.

Я промолчал. Он вернулся к сандалии.

– Иди к нему, – сказал он. – Сегодня. Не завтра. И скажи ему не то, что ты хочешь, чтобы он услышал, а то, что есть.

* * *

Рустик жил недалеко от Форума, в небольшом доме с садом, где росли оливы и один кривой кипарис. Слуга сказал, что хозяин в саду. Я пошёл.

Он стоял у кипариса и обрезал сухие ветки. Спиной ко мне. Не обернулся.

– Я пришёл извиниться, – сказал я.

– За что?

– За то, что сказал: «Я цезарь». Это было глупо. И за то, что обиделся. Потому что вы были правы.

Рустик положил ножницы. Повернулся. Лицо у него было такое же, как всегда: прямое, спокойное, без радости и без обиды.

– Я знал, что ты придёшь, – сказал он.

– Откуда?

– Если бы ты не пришёл, ты бы не был тем, кого я хотел учить.

Он вытер руки и вдруг сказал, как будто что-то решил:

– Подожди здесь.

Он ушёл в дом. Я стоял под кипарисом и думал, что мне, наверное, придётся ждать долго. Но он вернулся через минуту и держал в руках свёрток, перевязанный шнуром.

– Это моя копия, – сказал он. – Записи бесед одного человека. Эпиктета. Раба, потом вольноотпущенника, потом философа. Его ученик, Арриан, записал за ним то, что тот говорил. Я читал это двадцать лет. Теперь прочти ты.

Я взял. Свёрток был тяжёлый и тёплый от его рук.

– Читай и не болтай, – сказал Рустик. – Ты слишком любишь говорить о том, что прочитал. Лучше сначала поживи с этим.

Он отвернулся и снова взял ножницы. Это значило, что разговор окончен.

Я пошёл домой, держа свёрток под тогой, как украденный. По дороге мне казалось, что все на улице видят, что я несу, и знают, что у меня внутри.

* * *

Я читал всю ночь.

Это не было похоже на то, что я читал раньше. Не было красивых периодов, не было риторических вопросов. Был грубоватый, прямой голос, говоривший со мной, как говорят с равным на рынке.

«Одни вещи зависят от нас, другие не зависят. Зависят: мнение, стремление, желание, нежелание, словом всё, что наше дело».

Я прочитал это три раза. Потом отложил свиток, сел на

доски и посмотрел на лампу. Мне казалось, что кто-то взял мою жизнь, как тетрадь, и перевернул на чистую страницу.

Я вспомнил Аполлония и его вопрос, где я живу. Вспомнил Рустика и его «для вида». Вспомнил Диогнета с его плащом и театром. Всё это вдруг сложилось в одну линию, которая вела к человеку, которого я никогда не видел и который давно умер. К бывшему рабу, который сидел в Никополе и говорил ученикам, что они свободны, если не цепляются за то, что у них могут отнять.

К рассвету я дочитал до конца. Потом лёг, не раздеваясь, и впервые за много месяцев уснул без кашля.

Через день я пришёл к Аполлонию.

– Ты читал? – спросил он, едва я вошёл.

– Да.

– Что скажешь?

Я открыл рот. Всё, что я хотел сказать, было красиво. Я закрыл рот.

Аполлоний улыбнулся. Это случалось редко.

– Вот теперь можно начинать, – сказал он. – Кот, подвинься.

Глава 6

Глава 5. Душенька

Император умирал в Байях, у моря, и просил, чтобы его убили.

Это была уже весна, потом лето. Я не очень понимал, как это бывает: человек, которого весь мир звал богом, лежит в тёплой комнате с видом на залив и умоляет слугу принести кинжал. Я узнал об этом позже, из разговоров. Тогда мне только сказали, что император болен, что болезнь затянулась, и что он, кажется, хочет меня видеть.

Меня привезли в сумерках.

Вилла стояла на скале, белая, с колоннами, с садом, спускавшимся к воде. Внутри пахло лекарствами, горячим воском и солью. В коридорах слуги ходили на цыпочках и разговаривали шёпотом, как ходят и говорят в домах, где ждут чьей-то смерти и не хотят оказаться виноватыми в её приближении.

Меня провели в небольшую комнату с одним окном. На ложе, под тонким одеялом, лежал человек. Я не узнал его.

Когда-то это был красивый старик, широкоплечий, с короткой курчавой бородой, с глазами, в которых помещалась вся империя. Теперь передо мной лежала распухшая жёлтая фигура. Ноги под одеялом выглядели чужими, как будто принадлежали другому человеку. Дыхание было тяжёлым,

влажным. Но глаза остались прежними.

– А, Правдивейший, – сказал он. – Подойди. Я тебя не съем.

* * *

Я подошёл и встал у ложа.

– Садись, – сказал Адриан. – Нет, не туда. Туда, где я тебя вижу.

Я сел.

– Знаешь, что у меня болит? – спросил он.

– Нет, цезарь.

– Всё. И знаешь, что хуже всего? Врачи говорят, что это не смертельно. Что я проживу ещё месяцы. Я спросил одного, не жаль ли ему меня. Он ответил, что жалость не лекарство. Я его выгнал, а потом подумал, что он прав.

Он замолчал. Дыхание у него клокотало.

– Я просил людей меня убить, – сказал он спокойно. – Мой слуга отказался. Врач отказался. Я приказывал, но не смог заставить. А твоя семья как, привыкла отказывать императорам?

Я растерялся. Мне казалось, что он проверяет меня, и я решил отвечать прямо.

– Не знаю, цезарь. Но мне кажется, что нельзя приказать другому убить.

– Почему?

– Потому что тогда он будет убийцей, а вы будете только больным.

Адриан посмотрел на меня долго.

– Это умно, – сказал он. – Или хитро. Или просто правда. У тебя иногда разницу не заметишь.

Он повернул голову к окну.

– Знаешь, что я сочинил на днях? Ночью, пока никто не слышал. Скажи, как тебе. Только честно, как тогда про грибы.

Он прочёл тихо, почти шёпотом, на латыни, короткими строчками:

Душенька моя, бродяжка, нежная,

Гостья и подруга тела,

В какие места ты теперь уходишь,

Бледная, голая, застывшая,

И уже не будешь шутить, как прежде?

Я слушал. Море шумело внизу. Я не знал, что сказать.

– Тебе не нравится, – сказал Адриан.

– Нравится.

– Тогда что?

– Мне кажется, вы называете её «душенькой», потому что боитесь назвать иначе.

Он усмехнулся. Потом вдруг рассмеялся, хрипло, с кашлем, так, что слуга в дверях заглянул, испугавшись.

– Вот за это, – сказал Адриан, – за то, что ты не умеешь льстить умирающим, я тебя и выбрал. Не для себя. Для него.

– Для кого?

– Для Антонина. Он теперь мой сын. А ты будешь его сыном. Так я решил. Не спрашивай, не бойся и не надейся, что сможешь отказаться.

Я смотрел на него. Он лежал, обессиленный, жёлтый, и вдруг показался мне очень старым и очень одиноким.

– Я не хочу быть цезарем, – сказал я.

– Знаю, – сказал он. – Поэтому ты и подойдёшь.

* * *

Потом я узнал, как это было.

В начале года умер Элий Цезарь, которого Адриан усыновил и назначил преемником. Красивый, хрупкий, больной, он слёг и не встал. Адриану пришлось искать нового. Он перебрал всех сенаторов, одного за другим, и ни один его не устроил. Слишком умный, слишком жадный, слишком любит себя. Он остановился на Антонине, пятидесятиоднолетнем человеке, которого никто не воспринимал всерьёз: добром, спокойном, не ищущем славы.

Но у Антонина не было сына. У него росла дочь, Фаустина, а двое сыновей умерли в детстве. Адриан поставил условие: Антонин усыновит двух мальчиков. Одного, сына Элия, маленького Люция. Другого, меня.

Мне сказали это в день, когда вернулся домой.

Мать не плакала. Она сидела за столом, с очень прямой

спиной, и слушала, как дед, оглушённый и растерянный, пытался объяснить, что со мной будет. Я перееду в дом Антонина. Буду называться по-другому. Мой отец, которого я не помнил, потеряет своё имя на моих документах.

– А мама? – спросил я.

– Мама останется здесь, – сказал дед.

– Я хочу, чтобы мама жила со мной.

– Нельзя, Марк. Это не так делается.

Я посмотрел на мать. Она всё ещё молчала. Лицо у неё было тёплое и очень усталое.

– Я не хочу, – сказал я.

– Знаю, – сказала она наконец. – Я тоже не хочу. Но это не наше решение.

Я вдруг понял, что она говорит это не мне, а себе, пытаясь привыкнуть. Мне стало стыдно. Я капризничал, как мальчик, а она сидела и молча теряла сына.

Я встал, подошёл и положил голову ей на колени. Она погладила меня по волосам.

– Ты будешь хорошим, – сказала она. – Не потому, что тебя усыновил император. А потому, что ты такой.

Я не мог ничего ответить.

* * *

В ту ночь я спал на досках в последний раз.

Утром слуги упаковали вещи. Было немного: несколько свитков, плащ, козья шкура. Я хотел оставить шкуру матери, но та сказала:

– Возьми. Там, куда ты едешь, тебе будет не хватать тёплого.

Я взял. Я забирал не шкуру, а то, что она значила.

Дом Антонина на Палатине был огромным. Колонны, фрески, бесчисленные комнаты, слуги в белых туниках. Меня поселили в просторной спальне с высоким потолком и огромной кроватью, где можно было потеряться. Вещи расставили так, как положено цезарю.

Я тайком расстелил шкуру на полу у стены и лёг.

Утром меня нашёл слуга. Вскрикнул, испугался, убежал. Через десять минут в комнату вошёл Антонин.

Он не изменился в лице. Посмотрел на шкуру, на меня, на великолепную кровать, к которой я не прикасался.

– Тебе не нравится кровать? – спросил он.

– Я привык спать на жёстком.

– Хорошо, – сказал он. – Но слугам лучше не знать. Они будут говорить, что цезарь чудит. А чудачества цезаря обходятся дорого: каждое надо объяснить, оправдать и оплатить. Ложись на кровать, когда они смотрят. Остальное время твоё.

Он улыбнулся мне очень спокойно и ушёл.

Я остался стоять. Потом засмеялся. Впервые за эти дни. Это было так просто и так умно, что я не знал, злиться или благодарить. Он не стал запрещать мне то, что я любил. Он только научил, как с этим жить в доме, где тебя видят.

* * *

Адриан умер десятого июля.

Мне сказали утром. Я пошёл в комнату, где стоял Антонин. Он сидел на краю ложа, ссутулившись, с красными глазами. Он был старше меня на тридцать пять лет, но в тот момент казался младше. Он всю ночь просидел у тела человека, которого любил, и который так и не доверился ему при жизни.

Сенат не хотел объявлять Адриана богом.

Об этом я узнал позже. Адриан сделал много, чтобы его возненавидели: казнил четырёх консуляров, обидел половину римской знати, вёл себя как человек, которому никто не нужен. Сенаторы тихо перешёптывались: пусть лежит, как все. Надо отменить его указы. Забыть.

Антонин встал перед ними, пожилой, спокойный, в простой тоге, и заявил, что если они не признают его отца богом, он отказывается от власти. Тихо. Без угроз. Сказал, что не может править людьми, которые не хотят чтить умерших.

Они дрогнули. Они согласились.

Рим дал ему за это имя. Пий, благочестивый. Я стоял в зале и смотрел, как он принимает это имя, и думал: он сделал это не ради Адриана, который его мучил. Он сделал это ради того, чтобы остаться человеком в мире, где так легко перестать им быть.

Много лет спустя, на Дунае, я записал об Антонине столько, сколько не успел сказать ему при жизни.

* * *

Через неделю после похорон я лежал в большой постели, как положено, потому что слуги смотрели, и не мог уснуть.

Дверь тихо открылась. Вошёл Антонин. Без свиты, в одной тунике, со свечой.

– Не спишь, – сказал он.

– Нет.

Он сел на край кровати. Он выглядел очень уставшим.

– Я не хотел этого, – сказал он. – Не хотел власти. Я хотел жить в Лории, выращивать виноград, ходить по утрам в бани и ругаться с управляющим. Я не просил его выбирать меня.

– Но вы согласились.

– Согласился. Потому что некому было больше. А потом согласился на тебя. – Он помолчал. – Вот что я хочу сказать, Марк. Тебе будет трудно. Тебя будут ломать, как меня. Заставлять, уговаривать, обольщать. А ты можешь делать то же, что я: служить, не желая. Это возможно. Я проверил.

Я смотрел на него. Лицо у него было доброе, усталое, с мелкими морщинами у глаз. Он не был красив. Он был похож на человека, который много лет носил тяжёлый груз и научился идти ровно.

– Я постараюсь, – сказал я.

– Знаю, – сказал он. – Ты постараешься. Это всё, о чём я прошу. Остальное потом.

Он встал и пошёл к двери. На пороге обернулся и добавил, чуть улыбнувшись:

– И не бойся, что слуги видят, как ты спишь на полу. Если

они захотят объяснить это как-нибудь по-своему, это будет мой труд, а не твой.

Он ушёл. Свеча осталась на столике и догорала.

Я лежал в огромной постели, которая мне не нравилась, и глядел, как огонёк дрожит на потолке. Потом осторожно слез на пол, расстелил шкуру и лёг на неё. Впервые за много дней мне стало спокойно.

Глава 7

Глава 6. Невеста

Мне было семнадцать, ей восемь, и она сразу сказала, что я слишком худой.

Это произошло в атриуме Антонина, в день, когда меня привели знакомиться с семьёй. Слуги выстроились вдоль стен, мать девочки, жена императора, которую тоже звали Фаустиной, стояла в синем платье, красивая и ленивая, как кошка на тёплом камне. Рядом с ней, на мраморной скамье, болтая ногами, сидела девочка с острым подбородком и тёмными, очень внимательными глазами.

– Это он? – спросила девочка громко, не глядя на мать.

– Фаустина, – сказала мать.

– Он очень худой.

– Фаустина.

– И у него уши торчат.

Я стоял, не зная, куда деть руки. Антонин, стоявший рядом, кашлянул, и я понял, что он едва удерживается от смеха.

– Это твой будущий муж, – сказал он. – Так решили.

– Кто?

– Все.

Девочка посмотрела на меня, потом на отца, потом снова на меня. Подумала.

– Ладно, – сказала она. – Но пусть ест побольше. Мне не нравится, когда люди выглядят как будто сейчас упадут.

Я не упал. Но чуть позже, когда взрослые ушли, она соскочила со скамьи, подошла ко мне, обошла кругом, как обходят статую, и вдруг спросила:

– А правда, что ты спишь на полу?

– Откуда ты знаешь?

– Слуги говорят.

– Это временно.

– Это глупо, – сказала она. – Но интересно. Покажешь?

Я так растерялся, что показал. В тот же день. Привёл её в свою комнату, где у стены лежала козья шкура, и она потрогала её ладонью, села и посидела немного, глядя в потолок.

– Жёстко, – сказала она. – Но у тебя хоть вид из окна.

Потом ушла, оставив меня в странном состоянии, как человека, которого только что посетила буря.

* * *

Теперь я думаю, что в тот день решилось многое, хотя ни она, ни я этого не знали.

Мне нужно сказать, что сначала меня обручили не с ней. Адриан в последние месяцы жизни устроил так, что я должен был жениться на Цейонии Фабии, дочери Элия Цезаря, сестре маленького Люция. Это было разумно: две семьи соединялись, и всё оставалось в одних руках. Но Антонин, став императором, расторг помолвку. Не знаю, почему. Он сказал только, что девочка слишком мала, а потом объявил, что я

женюсь на его дочери.

Сначала я решил, что это расчёт. Позже понял, что нет. Просто он хотел, чтобы рядом со мной была его кровь.

Фаустине в тот год исполнилось восемь, но выглядела она старше: высокая, стройная, быстрая в движениях. Она любила лошадей, не любила, когда её учили, и умела так посмотреть на учителя, что тот забывал, что хотел сказать. Мать боялась, что она вырастет невыносимой. Отец радовался, что она вырастет собой.

Мы стали видеться каждый день.

Это было нелегко. Я уже был приёмным внуком императора, жил во дворце, сидел на заседаниях, учил греческий, читал. Она бегала по дому, дразнила слуг, лазила на крышу. Иногда я терял терпение. Иногда ловил себя на том, что жду её шагов в коридоре.

Однажды она подменила мою книгу.

Я читал в то время греческие диалоги, которые дал Диогнет, и носил свиток с собой. Утром обнаружил, что в футляре лежит что-то другое. Развернул. Это оказался Плавт, комедия, с самыми грубыми шутками, какие только писали в Риме. На полях была приписка, детским, корявым почерком: «Тебе полезно смеяться».

Я пошёл к ней. Она сидела на подоконнике, болтала ногами и смотрела на меня как ни в чём не бывало.

– Ты читал? – спросила она.

– Нет.

– Почему?

– Я не...

– Сороковая колонка. Про старика, который прятал деньги в горшке, а горшок унёс чужой раб.

– И?

– Прочти. А потом скажи, что тебе не смешно.

Я прочёл. Это была сороковая страница, там был горшок, собака, старик, крики, ужас. Я сидел в тени колонны и вдруг понял, что смеюсь, тихо, в кулак. Потом громче. Потом так, что заглянул слуга.

Вечером я пришёл к ней.

– Смешно, – признался я.

– Знаю, – сказала она. – У тебя лицо как у человека, которого много лет не щекотали.

* * *

Когда мне исполнилось девятнадцать, а ей десять, умерла её мать.

Это случилось осенью. Я занимался делами, как положено цезарю, и новость застала меня за столом. Императрица, женщина, которая никогда не торопилась и ничем не болела, умерла за три дня. Антонин пришёл в зал суда и сказал, что заседание закрыто. Лицо у него было непривычное, как будто на нём что-то стёрли.

Сенат объявил её богиней. Построили храм, выбили монеты. Антонин основал фонд, чтобы бедные девочки получали на пропитание: «Фаустинианки», в честь жены. Всё это

было правильно, красиво и торжественно. Но в доме стояла тишина, в которой слышно было, как скрипят половицы.

Фаустину я нашёл на третий день после похорон, ближе к вечеру.

Её не было ни в комнате, ни в саду, ни в бане. Слуги растерянно качали головами. Я нашёл её у старой смоковницы, в дальнем углу сада, где никто не бывал. Она сидела, обхватив колени руками, спиной к стволу, смотрела на землю.

Я остановился. Не знал, что делать. Меня учили говорить речи, цитировать философов, утешать так, чтобы слова звучали красиво. А передо мной сидела десятилетняя девочка, у которой умерла мать, и ничего из этого не годилось.

Я сел рядом. Не слишком близко.

Она не повернулась.

– Ты тоже, да? – сказала она наконец.

– Что?

– Потерял. Мне сказали, что у тебя отец умер, когда ты был маленький. Что ты умеешь. – Голос у неё был ровный, сухой, чужой. – Скажи, как это делается.

Я молчал. Она ждала. Она правда ждала, что я скажу.

– Не знаю, – сказал я.

– Как не знаешь?

– Я был очень маленьким. Я не помню. Помню только, что потом было тихо. И что все ходили вокруг, и никто не знал, как со мной говорить.

Она повернула голову и посмотрела на меня. Глаза у неё

были красные, сухие, очень взрослые.

– Вот-вот, – сказала она. – Все ходят и не знают. Тебе повезло, что ты не помнишь.

– Наверное.

– Я всё помню. Как она смеялась. Как любила горячую воду в бане. Как называла меня «моя птичка». Я думала, что это глупо. А теперь хочу, чтобы кто-нибудь назвал меня так.

Мы помолчали. Где-то в доме звякнула посуда. Ветер тихо шевелил смоковницу.

– Я не могу тебя так назвать, – сказал я осторожно. – Это будет странно.

– Очень, – сказала она и вдруг криво улыбнулась.

Я сидел рядом и ничего не говорил. Потом протянул ей руку. Не знаю, зачем. Она посмотрела на ладонь, помедлила и положила в неё свою, маленькую, холодную, с обкусанными ногтями.

Мы сидели так, пока не стемнело.

Потом она встала, вытерла лицо рукавом и сказала:

– Ты не такой скучный, как кажешься.

– Спасибо.

– Не за что. Просто факт.

Она пошла к дому. Я смотрел ей вслед и думал, что, наверное, когда-нибудь женюсь на этой девочке. И что это будет, пожалуй, лучше, чем я заслуживаю.

* * *

Свадьба была в сто сорок пятом году.

Мне было двадцать четыре, ей пятнадцать. Прошло семь лет с тех пор, как я первый раз увидел её в атриуме, и она успела превратиться в девушку, которая шла по коридору так, что слуги расступались.

Праздник был пышный, как и положено. Музыка, цветы, жертвы, толпы народа, раздача хлеба и денег. Я стоял в тоге, красный и потный, и пытался улыбаться. Она стояла рядом, в белом платье, с лёгкой тканью на лице, и под покрывалом я видел, как у неё дёргаются губы.

– Ты что? – прошептал я.

– Смешно, – прошептала она.

– Что смешно?

– Все такие торжественные. А у жреца нос в муке.

Я скосил глаза. У жреца и правда был белый нос: видимо, в пекарне, где он завтракал, не заметил. Я почувствовал, как внутри начинается смех. Я стиснул зубы, уставился в потолок, начал читать про себя Эпиктета.

Не помогло.

Мы вышли из храма, держась за руки, оба красные, с мокрыми глазами, и никто из гостей не понял, от чего: все решили, что от счастья. Отчасти так и было.

Вечером, когда праздник стих и мы остались одни в её новой комнате, она села на край кровати и посмотрела на меня серьёзно.

– Я хочу тебе кое-что сказать, – сказала она.

– Слушаю.

– Я не буду притворяться, что люблю философию.

– Я и не прошу.

– И я не буду носить плащ.

– Хорошо.

– И я хочу, чтобы ты время от времени спал в кровати. Нормальной. Не из жалости, а потому что иногда хочется, чтобы кто-то был рядом.

Я стоял посреди комнаты, в парадной тоге, чувствуя, что краснею до корней волос.

– Хорошо, – сказал я.

Она кивнула. Подвинулась на кровати и похлопала по одеялу рядом.

– Садись, философ. Расскажи, что ты думаешь о Плавте.

Это было лучшее начало семейной жизни, какое я мог себе представить.

* * *

Позже, многие годы спустя, когда её уже не было, я пытался вспомнить, когда именно полюбил её. Не мог. Любовь у меня не была событием. Она была привычкой, которую я не заметил, как приобрёл. Как привычка вставать на рассвете. Как привычка слушать реку.

Но когда я думал о вещах, без которых не смог бы жить, я всегда начинал с её смеха.

У нас родилось тринадцать детей. Она рожала их тяжело, с кровью, с долгими ночами, и ни разу не пожаловалась. Многих мы хоронили вместе, стоя рядом, и я ни разу не слышал,

чтобы она сказала вслух, что ей жаль. Она держалась так, будто горе можно просто нести, как воду, не расплёскивая.

Сейчас, на Дунае, мне часто хочется взять Плавта, раскрыть на странице сорок и прочитать про горшок и собаку. Я не могу. Знаю, что будет смешно. Но не уверен, что смогу смеяться.

Глава 8

Глава 7. Антонин

Дом, в котором я прожил двадцать три года, был самым скучным домом в Риме.

Я пишу это с нежностью. Антонин не любил шума. Утром он вставал рано, пил воду, ел кусок хлеба с сыром и шёл принимать просителей. К полудню возвращался, обедал без гостей, потом либо работал, либо дремал с книгой на лице. Вечером ужинал с семьёй, и разговоры за столом были такие, что любой поэт убежал бы через полчаса: о ценах на масло, о ремонте водопровода, о том, кого из сенаторов назначить в Африку и почему не этого.

Он никогда не говорил, что я должен учиться править. Он просто брал меня с собой.

На советы, где решали о налогах. На суды, где выслушивали жалобы. На приёмы послов, где нужно было выглядеть заинтересованным, когда на самом деле хотелось спать. Он сажал меня рядом, чуть позади, и я смотрел, как он слушает.

Слушал он странно. Не кивал, не хмурился, не торопил. Люди говорили, он молчал, и в какой-то момент они сами начинали понимать, что говорят лишнее. Потом он задавал один вопрос, всегда самый простой, и вдруг выяснялось, что всё остальное было шумом.

– Почему вы так делаете? – спросил я его однажды.

– Как?

– Молчите.

– Потому что пока человек говорит, он ещё надеется, что я с ним соглашусь, – сказал Антонин. – А когда я молчу, он вынужден слушать себя. Очень полезно. Многие впервые слышат.

Он улыбнулся и продолжил есть.

* * *

Я очень скоро заметил, что он не умеет торопиться.

Ни в чём. Он не любил принимать решения быстро и не любил менять их потом. Если вопрос был серьёзный, он откладывал на день, на два, на неделю, выслушивал всех, кто хотел говорить, перечитывал бумаги, ходил по саду, возвращался, спрашивал ещё раз. Когда решал, объявлял спокойно, без торжества, и этого решения уже ничто не могло сдвинуть.

Кто-то из друзей сказал мне, что при нём государство стало похоже на хорошо смазанное колесо: крутится, не скрипит, никто не вспоминает, что оно есть.

Он не уезжал из Италии. Ни разу за двадцать три года. Провинции видели его в письмах, в чеканке монет, в людях, которых он туда посылал. Я однажды спросил, не хочет ли он посмотреть Грецию или Египет. Он удивился.

– А зачем?

– Чтобы знать.

– Я знаю, – сказал он. – Мне пишут. А когда приезжает

император, провинция неделю готовится, неделю его принимает, и потом три месяца считает убытки. Лучше я посижу дома. Им так дешевле.

Я долго думал над этой фразой. Потом решил, что запишу её, когда научусь так жить. Не записал. До сих пор не научился.

* * *

В тот год, когда мне исполнилось двадцать шесть, умер Эвмен.

Он был рабом в нашем доме. Старый, сухонький, с лысой головой, покрытой пятнами, как кора платана. Когда я был маленьким, он водил меня в школу за руку, нёс мои таблички, отгонял собак на улице. Он знал, что я не люблю горох и боюсь грозы. Он никому об этом не рассказывал. Просто в дни гроз клал мне под подушку тёплый камень, и я засыпал.

Я не видел его последние месяцы: он переехал в загородный дом, потому что ноги отказали. Мне сказали, что он умер за один день. Тихо, ночью, во сне.

Я стоял у ложа, где его положили, и смотрел на лицо. Оно было совсем маленьким. Мне показалось, что я никогда не замечал, как он мал.

Я не помню, как это началось. Что-то в горле сжалось, и вдруг лицо стало мокрым, и я понял, что плачу. Не красиво, не по-философски, а как плачут дети: всхлипывая, давясь, не умея остановиться.

Слуги, стоявшие вдоль стены, замерли. Кто-то отвёл гла-

за. Кто-то тихо кашлянул. Потом ко мне подошёл управляющий, вежливый, холодный человек, который служил в доме ещё при Адриане, и наклонился к самому уху.

– Цезарь, – прошептал он. – Прошу вас. Не при слугах. Не к лицу.

– Что не к лицу?

– Плакать. Это неприлично. О рабе.

Он сказал это без злобы. Он говорил так, как говорят о правилах этикета. Мне вдруг стало ужасно стыдно. Я попытался остановиться. Сжал зубы, вытер лицо рукавом, выпрямился. Слёзы продолжали течь.

В этот момент вошёл Антонин.

Он стоял в дверях, в простой тунике, с посохом, на который опирался в последние годы. Он посмотрел на меня, на управляющего, на слуг, сразу всё понял. Я видел это по его лицу: он понял и очень рассердился. Но не на меня.

– Что здесь происходит? – спросил он тихо.

Управляющий выпрямился.

– Цезарь Марк... позволил себе, – начал он. – При слугах. Я лишь хотел напомнить...

– Что ему не к лицу?

– Да, император.

Антонин помолчал. Потом подошёл ко мне, положил руку на плечо. Рука была тёплая и тяжёлая.

– Пусть он будет человеком, – сказал он, не поворачивая головы.

Управляющий побледнел.

– Ни философия, – продолжил Антонин, – ни империя не отнимают у человека того, что дали боги. А если отнимают, то это плохая философия и плохая империя. Оставь его.

Слуги вышли один за другим, тихо, как выходят из храма. Мы остались втроём: я, Антонин и мёртвый старик на ложе.

* * *

Я плакал ещё долго. Антонин не уходил. Он сел на скамью у стены, положил посох на колени и сидел молча. Не утешал, не говорил, что всё будет хорошо, не напоминал, что смерть неизбежна. Просто сидел.

Когда я немного успокоился, он сказал:

– Я хоронил детей.

Я поднял голову.

– Двоих сыновей. Давно, ты тогда ещё был ребёнком. Они умерли от лихорадки, с разницей в год. Я стоял у гроба и думал: надо держаться. Император не плачет. Отец не плачет. Сенатор не плачет. Я так держался, что ничего не чувствовал. Несколько лет.

Он помолчал.

– Потом однажды ночью я проснулся и понял, что не помню лиц. Ни одного, ни другого. Мне пришлось выдумывать. И я тогда подумал: если не позволять себе потери, то не остаётся и того, что потерял.

Я слушал, не дыша.

– Не знаю, прав ли я, – сказал Антонин. – Но я решил,

что лучше помнить, чем держаться. Поэтому не стесняйся. Старик любил тебя. Он заслужил слёзы.

Он встал, тяжело, медленно.

– А про то, что неприлично, – добавил он, уже у двери, – я скажу Ферону. Он найдёт, чем заняться. Сегодня же.

Управляющего звали Ферон. Через неделю его перевели в какое-то поместье на побережье, с повышением. Я потом узнал, что он считал это ссылкой.

* * *

Эвмена похоронили на нашем семейном участке. Это было против обычая нашего рода, где вольных и рабов клали порознь. Антонин сказал, что обычаи придуманы для спокойствия живых, а не для достоинства мёртвых, и распорядился положить его рядом с моими дедами.

Я стоял у могилы, держа в руках тёплый камень, который достал из-под подушки. Не знаю, зачем взял. Мне вдруг показалось, что камень надо вернуть.

Антонин подошёл, посмотрел.

– Что это?

– Он клал мне это под подушку, когда была гроза.

– Положи в могилу.

– Он не поймёт.

– Не поймёт, – согласился Антонин. – Но ты поймёшь.

Я положил. Камень лёг на свежую землю, маленький и серый. Я смотрел на него и чувствовал, что наконец что-то сделал правильно.

Много лет спустя, когда я хоронил детей и стоял над маленькими могилами, я часто вспоминал этот день. Тогда я не следовал ему. Я учился другому: держаться. Мне казалось, что так честнее. Что стоик не должен позволять себе слабость. Я забыл, что человек, который научил меня всему, о чём я теперь пишу, сам сказал: помни лица.

Я не всегда помню. Это правда.

* * *

Последние годы он жил в Лории.

Я приезжал туда по несколько раз в год и жил неделями. Дом был старый, тёмный, с огромным очагом, у которого Антонин любил сидеть вечерами. Вино он делал сам и всем объяснял, как плохо оно получилось. Виноград собирали в сентябре. Он выходил в сад, брал нож, вставал вместе с рабами и срезал грозди. Рабы пытались его отговорить. Он отмахивался.

– Я с детства это делаю, – говорил он. – Смотри, Марк. Никуда не торопись. Берёшь гроздь, срезаешь, кладёшь в корзину. Следующая. И ни одной не бросай. Тогда к вечеру будет много.

Я стоял рядом, неловкий, не умеющий держать нож. Он показывал, как надо. Я срезал, кладя в корзину, и руки были липкие и сладкие.

– Всё так и делается? – спросил я. – Править, жить?

– А чем, по-твоему, ещё? – удивился он. И прибавил с улыбкой: – Только виноград проще. Он не спорит.

Это был, наверное, самый счастливый сентябрь в моей жизни. Я не знал тогда, что их осталось немного. Знал только, что рядом человек, у которого хватает сил на то, чтобы не уставать.

В последний раз я приехал в Лорий в марте.

Приехал на три дня, по делам, и остался на шесть. Антонин жаловался на желудок, но шутил. Он сказал, что здесь, в Лории, живёт хороший сыр, а в Риме нет, и что он собирается есть его до самой смерти.

Тогда мне это показалось шуткой.

Глава 9

Глава 8. Вода и хлеб

Река сегодня тихая. Часовые сменились. Продолжу.

Лето сто шестьдесят первого года выдалось жарким. Мы с Люцием делили дворец, как делят пирог: он взял половину, где было шумно, я другую, где было тихо. Рим привыкал к нам обоим. Он смотрел на нас так, как смотрят на новую монету: на зуб.

В последний день августа Фаустина родила двух мальчиков. Близнецов. Город сходил с ума от радости: на монетах выбили двух младенцев на рогах изобилия и подписали «Счастье времён». Я стоял у колыбели и думал, что вот оно, счастье, и что оно вполне помещается на моих двух ладонях.

Одного из них мне предстояло похоронить в четыре года. Другого я не сумею научить тому, чему хотел.

Но в тот день я этого не знал. Я просто смотрел на них и был глуп, как бывает глуп человек, которому хорошо.

* * *

Осенью пришла вода.

Тибр поднялся за одну ночь. Я проснулся от крика: слуга стучал в дверь и повторял, что река входит в город. Я вышел на террасу Палатина. Внизу, в темноте, то, что вчера было Бычьим форумом, блестело, как расплавленное олово. По воде плыли доски, бочки, кто-то кричал, кто-то нёс на пле-

чах старуху. Мёртвый бык, раздутый, как бурдюк, медленно разворачивался у подножия холма.

К утру рухнули десятки домов. Утонули тысячи животных. Склады, где лежало зерно, залило: мешки разбухли и начали гнить прямо на полках.

Через неделю в городе начался голод.

Я много лет читал о том, как должен жить мудрец. О страстях, о смерти, о воле. Рустик учил меня не бояться, Эпиктет учил меня не цепляться. Но вот что я понял в те недели: ни одна книга не кормит город. Город кормит хлеб. Я просиживал ночи на складах, считал мешки, подгонял корабли из Египта и Африки, ругался с хлеботорговцами. Люций ездил со мной и вдруг оказался хорош: он обаял всех, от грузчиков до сенаторов, и там, где я только требовал, он умел договориться. Я смотрел на него и думал: вот чего мне не хватает. Умения, чтобы тебя любили, пока ты делаешь то, что нужно.

Мы выдержали. Рим никогда не узнает, сколько мешков зерна стоило мне двух месяцев сна.

* * *

Весть с востока пришла, когда вода ещё не ушла из подвалов.

Гонец был весь в пыли, лошадь под ним пала на последней миле. Он упал на колени в нашем зале и сказал то, что нельзя было сказать мягче: парфянский царь Вологез вошёл в Армению, посадил там своего человека, а римский легат Седаций Север, который пошёл ему навстречу, погиб вместе

со всем своим легионом у города Элегия.

В зале стало тихо. Даже Люций, всегда готовый к шутке, не улыбнулся.

Мы собрали совет той же ночью. Префекты, сенаторы, старые консулярии, которые воевали ещё при Траяне и помнили, как это бывает. Говорили долго. Затем стало ясно то, о чём все молчали: на восток должен ехать император. Легионам нужно видеть имя, а не приказ. Армия не идёт за бумагой.

Я не мог ехать. Рим был больной, голодный и ещё мокрый. Германцы-хатты уже щупали границу на Рейне, в Британии становилось неспокойно. Кто-то должен был остаться и держать город за горло.

Ехать мог только Люций.

Я посмотрел на брата. Он сидел, откинувшись на спинку кресла, с видом человека, которому только что предложили хорошую охоту. Тридцать один год. Ни одной войны за плечами.

– Наконец-то ты мне доверяешь, – сказал он.

– Я тебе не доверяю, – сказал я. – Ты мне нужен.

Он засмеялся.

– Это почти одно и то же.

– Нет, – сказал я. – Но спорить мы не будем.

* * *

Я послал за трибуном ночной стражи.

Он пришёл через час и встал на пороге по стойке, как сто-

ят люди, которых вызвали ночью и не объяснили зачем. Я узнал его сразу: то же широкое лицо, та же усталость, которая уже не боролась с выправкой, а просто жила рядом.

– Гай Корнелий Руф, – сказал я.

– Император.

– Какое слово ты передал страже в ту ночь, в марте?

Он не удивился. Только чуть помедлил.

– Ровность духа, император.

– И как стража?

– Просили «Победу», – сказал он без выражения. – Говорили, что от «ровности духа» хочется спать.

Я не выдержал и улыбнулся. Впервые за много дней.

– А ты?

– Я неделю не мог уснуть, – сказал он. – Всё думал, что оно значит.

Я смотрел на него и понял, что передо мной тот, кто мне нужен. Не умный, не хитрый, не из великого рода. Просто человек, который неделю не спит, если ему сказали странное слово.

– Ты едешь на восток, – сказал я. – С моим братом.

– В каком качестве?

– В качестве трибуна. И ещё в одном. Я хочу, чтобы раз в неделю ты писал мне письмо. Не донос. Мне не нужны чужие тайны. Мне нужно знать, что он ест, что пьёт, кого слушает и как спит. И каким он возвращается к себе по ночам. Ты понимаешь разницу?

Он молчал долго.

– Если он спросит, о чём я пишу, – сказал он наконец, – я не стану лгать.

– Я и не прошу, – сказал я. – Пусть знает. Тогда он будет лучше, чем если бы не знал.

Так я нашёл себе глаза в лагере брата. Я тогда не понял, что сделал заодно кое-что ещё: связал этого человека со своей судьбой на много лет вперёд.

* * *

Люций выехал из Рима летом следующего года. Это был не отъезд, а праздник. Колонны шли через весь город: легионеры, всадники, повара, музыканты, актёры, гладиаторы. Он взял с собой даже своего любимого коня Волюкра, которого кормил не ячменём, а изюмом и орехами, и которому, говорили, уже заказал золотую статую.

Я проводил его до Капуи. Мы ехали рядом, не торопясь. Брат шутил, смеялся, махал рукой встречным. Я смотрел на него и думал о том, что завидую. Не его беспечности, а лёгкости, с которой он умел быть живым.

В Капуе мы остановились. Колонна растянулась по дороге. Он повернулся ко мне.

– Береги Рим, – сказал он.

– Береги себя.

– Я привезу тебе Ктесифон, – сказал он. – Положу на стол, как блюдо.

– Мне не нужен Ктесифон. Мне нужен ты живой. И чтобы

армия вернулась.

Он улыбнулся, но я не понял его улыбки.

– Знаешь, в чём наша беда, брат? – сказал он вдруг. – Ты думаешь, что я легкомысленный, а я думаю, что ты скучный. И мы оба правы. А Рим пока терпит.

Он ударил коня пятками и поехал вперёд. Не оглянулся.

Я стоял на дороге и смотрел, как уходит колонна. Пыль висела в воздухе, медленно оседая. Философ остаётся, воин едет, думал я. Мир уверен, что знает, кто из нас кто.

Я ошибался в обоих.

Глава 10

Глава 9. Письма с востока

Ночь. Ветер с реки. Лампа коптит, но пусть.

Я люблю письма. Это дурная привычка книжного человека: верить, что на бумаге увидишь больше, чем глазами.

Руф писал коротко и сухо, как пишут рапорты. Ни украшений, ни цитат, ни попыток понравиться. Раз в неделю гонец привозил мне свиток, и я читал его вечером, при лампе, пока Фаустина укладывала близнецов. Каждый раз мне казалось, что я стою рядом с братом и вижу всё сам.

Первое письмо пришло из Апулии.

«Август Марк, привет. Твой брат слёг в Канузии. Врачи говорят, что это ничего, но он бредит. Я дежурил у кровати две ночи. Он звал тебя».

Я уехал в ту же ночь. Три дня в седле по плохим дорогам, с одним спутником и двумя запасными лошадьми. Вошёл в комнату и увидел его: серого, осунувшегося, с мокрыми от пота волосами. Тот самый Люций, который смеялся у ворот. Я сел на край ложа и просидел три ночи.

На четвёртую жар спал. Он открыл глаза, поморгал и посмотрел на меня.

– Ты что, сиделка? – спросил он хрипло.

– Я брат, – сказал я.

Он закрыл глаза и улыбнулся. Больше мы об этом не го-

ворили. Но я запомнил, что в бреду человек зовёт не того, кого любит, а того, кому доверяет. И что эти двое не всегда совпадают.

* * *

Второе письмо шло долго. Оно пришло уже из Греции.

«Мы вышли из Брундизия на кораблях. Это не корабли, а плавучие пиршественные залы. Он останавливается в каждом порту. В Коринфе был пир на три дня. В Афинах его встречали речами философов, а он смотрел на театр. В Эфесе уже ждали музыканты. Мы идём на войну, август, но идём очень медленно».

Я дочитал и поймал себя на раздражении. Это было неправильное чувство. Я стал разбирать его, как учил Эпиктет, по частям. Что именно меня злит? Что брат ест и пьёт? Это его дело. Что он тратит время? Время не принадлежит ни мне, ни ему. Что люди видят это и судят? Они всегда судят.

В конце концов остался один честный остаток. Я злился потому, что завидовал. Я хотел бы, чтобы кто-то перевязал и мои корабли гирляндами. Хотя бы раз.

Я написал себе на полях записной таблички: «Не завидуй. Не суди. Следи за собой». Получилось плохо. Но таблички тогда были лучше, чем люди.

* * *

Третье письмо пришло из Антиохии.

«Мы прибыли поздней осенью. Антиохия великолепна. Армия в ужасном состоянии, август. Легионеры живут по до-

мам, ходят в театр и в бани, волосы у многих завиты. У половины нет щитов, у кого есть, те заржавели. Лошади худые. Многие забыли, как стоять в строю. Они не воевали больше пятнадцати лет и не хотят начинать».

Я читал и верил каждому слову. Фронтон писал мне примерно то же, из других источников: сирийские легионы разбаловались в роскоши мирных лет. Они привыкли быть частью города, а не частью армии.

Но в том письме было ещё кое-что.

«Командует Сирией Авидий Кассий. Невысокий, жилистый, из Кирра, сын бывшего префекта Египта. Он вывел солдат из бань, заставил маршировать по раскалённой дороге с полной выкладкой. Повесил двоих. Говорят, ещё нескольких высек до костей. Солдаты его ненавидят, но к весне они снова похожи на солдат».

И ниже, другим почерком, мельче и осторожнее, будто Руф писал это после долгого раздумья:

«Он не любит пиров твоего брата и всегда уходит раньше. Он говорит о тебе с уважением. Но, мне кажется, не любит и тебя. Я пока не понимаю, что это значит».

Я перечитал это место три раза. Потом положил письмо в шкатулку и закрыл. Мне следовало бы сжечь его. Я не сжёг. Человек не любит выбрасывать предупреждения, даже когда не знает, что с ними делать.

* * *

Четвёртое письмо было самым длинным и самым стран-

ным.

«У твоего брата появилась женщина. Её зовут Пантея, она из Смирны. Говорят, что её красота не в лице, а в голосе. Она поёт, читает Гомера наизусть и смеётся над ним в глаза. Он ходит за ней по пятам, как мальчик. Я слышал, как он спрашивал, хорошо ли ему сегодня идёт тога. Раньше он спрашивал только, хорошо ли идёт лошадь».

И чуть ниже:

«Я не знаю, что ты хочешь, чтобы я об этом написал. Поэтому пишу как есть. Он счастлив. Но, кажется, и сам не вполне понимает, с чем играет».

Я отложил письмо и долго смотрел на огонь лампы.

Мне было неловко. Не оттого, что брат завёл любовницу: в его положении и в его возрасте это было почти правилом. Мне было неловко оттого, что я уже решил выдать за него мою дочь Лукиллу. Ей было тринадцать. Я думал: пусть брат станет мне ещё и зятем, пусть эта связь скрепит то, что и так скреплено. Теперь я не знал, правильно ли отдавать ребёнка человеку, который смотрит на другую.

Я решил сделать это всё равно. Потом я часто спрашивал себя, был ли это расчёт императора или слабость отца. Никто, кроме меня, не знает правды, а я сам не уверен.

В ту ночь я сел и написал брату длинное письмо. О долге. О том, что римский август не просто человек, а лицо Рима. О том, что армия смотрит на него, а не на его кубок. Писал аккуратно, без упрёков, как друг.

Ответ пришёл через два месяца. Короткий, на одной табличке.

«Брат, я помню, что я август. А ты помнишь, что ты умеешь радоваться? Твой Люций».

Я перечитал эти слова много раз. И не нашёл, что ответить. Не потому, что он был прав. А потому, что был прав наполовину, и вторая половина была моя.

* * *

Позже, много лет спустя, на берегу реки Грон, я напишу себе одну фразу. Я напишу её, чтобы не забыть: следи, чтобы тебя не превратили в цезаря, не окрасили пурпуром. Потому что это бывает. Это случается тихо, постепенно, как краска пропитывает ткань.

В тот вечер в Риме я этого ещё не понимал. Я думал, что мне нужно беречь брата от власти.

Мне следовало беречь себя.

Глава 11

Глава 10. Города, которые горят

Сегодня холодно. Пальцы стынут на стиле. Но я хочу записать это сейчас, пока помню.

Войну на Востоке я видел только через чужие глаза. Руф рассказывал мне её потом, много лет подряд, по ночам, когда не спалось нам обоим. Я слушал, перебивал, переспрашивал. Теперь мне кажется, что я был там сам.

Но сначала о том, чем я занимался в Риме.

Я судил.

Мне нравилось судить. Это единственное место, где слова весят столько, сколько стоят. По утрам я садился на возвышение в зале Палатина, рядом со мной сидели юристы, а передо мной стояли люди: купцы, вдовы, вольноотпущенники, наследники. Они спорили о завещаниях, о долгах, о границах полей. Спорили так, будто от этого зависела судьба мира. Для них так оно и было.

Однажды ко мне привели раба. Хозяин в завещании назвал его свободным, но наследник оспаривал: слова, мол, записаны криво, закон нарушен. Мой юрист Меций, человек умный и честный, шепнул мне, что формально наследник прав.

Я посмотрел на раба. Он стоял, не поднимая глаз. Лет сорока, с руками ремесленника. Он ждал, как ждёт человек, у

которого в жизни было мало справедливости.

– Он свободен, – сказал я.

– Император, закон...

– Закон не нужен тому, кто не умеет быть справедливым, – сказал я. – Если запись кривая, пусть будет кривой. Воля умершего ясна.

Юрист поклонился. Наследник побледнел. Раб не заплакал, он просто перестал смотреть в пол. Потом такие решения стали привычкой. Свободу я всегда толковал в пользу свободы.

* * *

Весть из Армении пришла в середине лета. Приск, наместник Каппадокии, взял Артаксату.

Он сжёг её. Древнюю столицу армянских царей, с дворцами, храмами и рынками. На её месте поставили новый город, назвали его просто Новым, а на трон посадили сенатора родом из парфянских царей, Соэма. Рим любит такие решения: уничтожить старое и на пепле объявить новое.

Сенат прислал мне почести. Титул Армянского. Статуи, празднества, приношения. Брат принял всё сразу, с лёгким сердцем, как принимают подарок.

Я колебался. Я думал: в чём моя победа? В городе, где ещё вчера жили люди? В том, что их дети будут расти под римскими орлами? Это не победа. Это то, что бывает с проигравшими.

Я отказался. Потом, через несколько недель, согласился:

люди писали мне, что армии нужно единство, а единство требует, чтобы оба августа были победителями. Я согласился, но с тех пор не любил этот титул.

* * *

Теперь расскажу о том, чего не видел.

Весной сто шестьдесят пятого года армия Кассия пошла вниз по Евфрату. Это была уже не та армия, которую Руф увидел в Антиохии. Щиты начищены, лошади откормлены, строй держится даже на привале. Кассий ничего не объяснял и не просил любви. Он просто делал так, что иначе было нельзя.

У города Дура они встретили парфян.

Битва началась на рассвете. Руф стоял на возвышении рядом с Кассием и видел, как лёгкие парфянские всадники налетают, пускают стрелы и уходят, как рой ос. Он видел, как римская пехота стоит стеной, не двигаясь, подставляя щиты. Это было похоже на урок терпения. Потом парфяне ослабили натиск, и Кассий дал знак. Легионы пошли вперёд.

До вечера всё было кончено.

Когда пыль осела, Кассий сидел на камне и пил воду из фляги. Лицо у него было серое, борода в пыли. Он не казался ни счастливым, ни довольным. Только очень усталым и очень точным.

Руф принёс ему доклад. Кассий выслушал и спросил, не поднимая глаз:

– Ты друг Марка? Или его глаза?

Руф помолчал.

– Я его письма, – сказал он.

Кассий усмехнулся.

– Честно. Пиши ему, что я возьму Ктесифон.

– Он просил, чтобы вернулись все.

– Все не вернутся, – сказал Кассий спокойно. – Ни в какой войне все не возвращаются. Скажи ему, чтобы не тратил время на философию. Здесь добродетель – это обоз, пришедший вовремя.

Он встал и пошёл вдоль строя. Руф смотрел ему вслед и думал о том, что этот человек на самом деле очень похож на Марка. Тот же аскетизм, та же привычка спать на земле, та же прямая спина. Только без жалости.

Он написал мне об этом тем же вечером. Я прочитал и подумал, что Руф ошибается. Потом много лет проверял, и не нашёл, где.

* * *

Селевкия стояла на Тигре, белая, мраморная, греческая. Город был старый, торговый, богатый. Горожане вышли навстречу римлянам с венками, открыли ворота и пели. Руф ехал среди первых и смотрел на лица людей: радостные, испуганные, просящие.

Через два дня город горел.

Что случилось, я не знаю до сих пор. Римляне говорили потом, что селевкийцы нарушили договор и ударили в спину. Селевкийцы, которые остались живы, говорили обрат-

ное. Руф, который был там и видел собственными глазами, молчал об этом долго. Потом сказал мне:

– Я видел только огонь. Я не видел, кто его зажёг.

Он шёл по улицам, где горели лавки, где люди бежали с детьми, где солдаты, ещё вчера дисциплинированные, ломали двери. Один из них вышел на площадь с серебряной чашей, другой тащил на плече девушку. Руф приказал им остановиться, но голос его потонул в треске огня.

Он зашёл в храм Аполлона, где было тихо и пахло ладаном. Среди колонн стоял золотой ларец, старинной работы, с узкой щелью. Какой-то легионер, пьяный от крови и вина, ударил по нему мечом. Крышка отскочила. Из ларца что-то потянуло: тёмное, тонкое, почти неощутимое. Руф потом клялся, что запомнил запах: сладкий, гнилостный, будто открыли гробницу.

Это легенда. Я знаю, что это легенда. Я не верю в сундуки и проклятья. Я верю в вещи, которые приходят с армиями, как вши и лихорадки. Но я до сих пор не могу забыть этот рассказ, и всякий раз, когда вспоминаю его, мне кажется, что я слышу тот самый запах.

Ктесифон взяли через неделю. Дворец парфянского царя сожгли. Брат принял титул Парфянского Величайшего, и мы с ним праздновали победу, и Рим был в восторге.

* * *

В ту ночь, когда пришло письмо Руфа о Селевкии, я не мог читать. Я вышел на террасу и долго смотрел на огни города.

Потом, много позже, я запишу себе: паук гордится, поймав муху, человек гордится, поймав зайца, другой рыбку в сети, третий кабана, четвёртый медведя, пятый сарматов. Разбойники ли они все? По сути, да.

Я написал это тогда, когда уже понимал, что и сам не лучше. Что Армения, Ктесифон, парфянский титул, всё это пауки и мухи. Что мы победили, и победа стоила чужого города. И что в обозе нашей армии шла домой не только слава.

Я ещё не знал, что именно.

Но знал, что узнаю скоро.

Глава 12

Глава 11. Свадьба в Эфесе

Я забежал вперёд. В прошлой записи я сжёг Селевкию, а свадьбу дочери оставил за спиной. Вернусь назад. Эта часть мне дороже.

За год до Дуры, осенью сто шестьдесят третьего, я повёз свою дочь к жениху.

Лукилле не было и пятнадцати. Высокая, тонкая, с отцовскими бровями и материнским ртом. Она не плакала и не улыбалась. Весь путь до Брундизия она молчала, глядя в окно повозки на мокрые поля Апулии. Я сидел рядом и не знал, что сказать. Я, который написал столько страниц о том, как следует вести себя в любом положении, не нашёл ни одной фразы для собственного ребёнка.

В Брундизии нас ждал корабль. Большой, с красными бортами и позолоченным носом. Рядом стоял старик с красным от ветра лицом, дядя Люция по отцу, Цивика Барбар. Добрый, шумный, с привычкой смеяться над каждой своей шуткой. Ему я доверил её дорогу.

Я дальше не поехал. Я не мог оставить Рим. Это была одна из тех причин, которые оказываются правдой и отговоркой одновременно.

Мы стояли на причале, и ветер трепал её плащ.

– Он добрый? – спросила она.

Я ответил так, как не стоило бы отвечать дочери накануне свадьбы:

– Добрый. И слабый. Это иногда одно и то же.

Она посмотрела на меня.

– А ты?

– Что я?

– Ты добрый или сильный?

Я задумался. Честно задумался, как не думал давно.

– Я стараюсь быть справедливым, – сказал я наконец. – Это не одно и не другое.

– Ты всегда так отвечаешь, – сказала она. – Как будто ждёшь, что кто-то запишет.

Я рассмеялся. Невесело. Девочка попала точно.

Потом она поднялась по трапу, не оглядываясь. Я стоял и смотрел, как корабль выходит в море. Алый борт, золотой нос, белый парус. Он становился всё меньше, пока не растворился в голубом. Я не знал тогда, чья судьба уходит на этом корабле: её или моя.

* * *

Что было дальше, я знаю от Руфа. Он был в Эфесе.

Люций приехал из Антиохии за неделю до свадьбы. Он был необычно тих. Ходил по городу, смотрел на храм Артемиды, самый большой из тех, что он видел, и вдруг спросил Руфа, как ему кажется, не слишком ли он стар для пятнадцатилетней девочки.

– Тебе тридцать три, август, – сказал Руф.

– Мне на семнадцать лет больше, – сказал Люций. – Она родилась, когда я уже сидел на скамьях в школе.

Руф промолчал. Он не умел утешать.

Я узнал потом одно, что делает моего брата лучше, чем он казался. Пантея осталась в Антиохии. Он не взял её с собой в Эфес. Я не просил его об этом ни в одном письме. Он сделал это сам.

Корабль пришёл в начале осени, в тихий, золотой день. Весь Эфес вышел на набережную. Люций ждал на причале, в парадной тоге. Лукилла сошла по трапу, прямая и очень бледная. Они посмотрели друг на друга. Он поцеловал ей руку, медленно, как послу чужой страны. Она склонила голову.

В толпе кто-то крикнул что-то весёлое. Никто не засмеялся.

Свадьбу сыграли в Эфесе, с обрядом у храма Артемиды. Играла музыка, горели светильники, жрецы в белом читали древние слова. Девочка стояла рядом с Люцием, как статуя, и не дрогнула ни разу. Руф сказал мне потом, что это было страшнее любых слёз.

* * *

В ту же ночь Лукилла заболела.

Морская болезнь, говорили одни. Жар, говорили другие. Её рвало, она не могла встать с постели, лицо стало цвета свечи. Цивика бегал по коридорам и звал врачей. Придворные лекари, присланные из Антиохии, суетились и спорили: пускать кровь или нет, давать ли настой или нет.

Руф стоял у двери. Ему было не по себе. Он вышел в коридор и спросил первого попавшегося слугу, нет ли в городе какого-нибудь толкового врача, который не боится говорить правду.

Слуга ответил, что есть одна женщина. Из Пергама. Лечит при храме Асклепия, приезжает в Эфес на праздники.

Её привели через час.

Это была невысокая гречанка лет двадцати пяти, в простом сером платье, с волосами, стянутыми узлом, и с чёрной кожаной сумкой через плечо. Смотрела она так, как смотрят люди, которые давно перестали бояться начальства. Руф рассказывал мне, что в первую минуту принял её за служанку.

– Меня зовут Фила, – сказала она. – Где больная?

Она вошла к Лукилле и пробыла там полчаса. Потом вышла и сказала Руфу, который ждал под дверью:

– Ничего страшного. Устала, переволновалась, надышалась морской солью. Придворные лекари хотят пустить ей кровь, но она и так бледная. Не надо. Дайте ей воды, мёда и покоя. И не пускайте к ней никого до утра.

– Даже мужа? – спросил Руф, не подумав.

Фила посмотрела на него.

– Особенно мужа, – сказала она. – Ему сейчас тоже нужен покой.

Руф невольно усмехнулся. Он не смеялся много месяцев.

Он проводил её по коридору. По дороге спросил, где она училась.

– В Пергаме, – сказала она. – У одного человека. Гален. Слышали?

– Нет.

– Услышите, – сказала Фила. – Он уехал в Рим два года назад. Сказал, что в Пергаме для него тесно. Я не поехала. Мне здесь лучше. Много больных, мало врачей.

– А в Риме?

– В Риме врачей много, – сказала она. – Это ещё хуже.

Она вышла из дворца в темноту, не оглядываясь, с чёрной сумкой на плече. Руф стоял и смотрел ей вслед. Он потом признавался мне, что не помнит, что подумал в ту минуту. Только что запомнил её походку.

* * *

На следующий день Лукилла сама послала за Руфом.

Она сидела в кресле, закутанная в шерстяной плащ, всё ещё бледная, но уже с тем выражением лица, которое мне хорошо знакомо. Взгляд прямой и немного насмешливый.

– Ты тот, кто пишет отцу? – спросила она без вступления.

Руф замер. Он не знал, как она догадалась.

– Я пишу императору, – сказал он осторожно.

– О моём муже?

– О том, как идёт война.

– Не лги, – сказала она. – Ты хороший человек, у тебя это плохо получается.

Он молчал.

– Пиши ему, – сказала она. – Что я не боюсь. И что я уже

не маленькая. И что он ошибся, когда спросил меня на причале про доброту и силу. Он думал, что я не пойму, что он имел в виду. Я поняла.

Руф записал это слово в слово. Он принёс мне письмо через три месяца. Я прочитал его раз, потом другой. Потом закрыл и долго сидел один.

Моя дочь была умнее, чем я думал. И опаснее, чем я хотел бы знать.

* * *

Позже, когда Люция уже не было, а её жизнь пошла путём, о котором я не мог и подумать, я часто вспоминал тот разговор. Девочка, которая в пятнадцать лет не боится человека вдвое старше. Которая понимает отца лучше, чем он понимает себя.

Я дал ей хорошего мужа, подумал я тогда. Я дал ей корону. Я дал ей дорогу, по которой ходят императрицы.

Я не дал ей одного. Свободы выбирать.

Это я записать не решаюсь. Но помню.

Глава 13

Глава 12. Венок и кашель

Опять ночь. Опять река. Мне тяжело писать про этот день, хотя он был самым светлым в моей жизни.

Двенадцатого октября сто шестьдесят шестого года Рим праздновал победу над парфянами.

Город проснулся затемно. К рассвету на улицах нельзя было протолкнуться: женщины с венками в волосах, дети на плечах у отцов, старики с палками, торговцы с корзинами жареных каштанов и мяса. Над крышами стоял сизый дым курильниц. Пахло ладаном, горячим маслом и вином, которое начали пить с самого утра.

Мы с Люцием ждали на Марсовом поле. Армия стояла строем: загорелые, обветренные люди в начищенных доспехах, и по ним было видно, что они вернулись издалека. За ними тянулись повозки с добычей. На шестах над колонной пленных раскачивались парфянские знамёна: бронзовые головы драконов с длинными тканевыми хвостами. Когда ветер наполнял хвосты, драконы выли, тонко и протяжно, будто живые, и толпа вздрагивала и смеялась.

Среди повозок ехала одна, на которую смотрели молча. На ней стояла статуя Аполлона, увезённая из храма в Селевкии. Бронзовое лицо, спокойное, чуть насмешливое. Мы собирались поставить её в Риме, в храме Аполлона. Я смотрел

на неё и вспоминал рассказ Руфа о золотом ларце. Потом отвёл глаза. Я не верил в ларцы.

Люций надел пурпур так, будто родился в нём. Он стоял рядом и улыбался толпе. Потом, не поворачивая головы, сказал:

– Улыбайся, брат. Они за это платят.

– Я улыбаюсь.

– Нет. Ты морщишься, как перед кровопусканием.

Он был прав. Я выпрямил лицо, и мы тронулись.

Мы шли через Триумфальные ворота, по Священной дороге, мимо Цирка, вдоль Форума, к Капитолию. Сыпались цветы, зерно, лепестки. Женщины плакали, мужчины выкрикивали наши имена. Хор мальчиков пел гимн. Лавровая ветка в моей руке пахла мокрой кожей, как всё в тот день. По старому обычаю за плечом триумфатора стоит раб и шепчет ему, что он всего лишь человек. Мне не нужно было шептать. Я и без того знал.

В ту минуту я думал не о победе, а о Селевкии: об огне над белым городом, которого я не видел, но видел каждую ночь.

* * *

На Капитолии, перед храмом Юпитера, мы с Люцием вместе совершили жертву. Потом я сделал то, ради чего, может быть, и затевал этот день.

Я вывел вперёд своих сыновей.

Коммоду было пять, а младшему, Аннию Веру, четыре. Оба в маленьких тогах, с важными лицами и влажными ла-

дошками. Сенат признал их цезарями. Это значило, что когда-нибудь они станут августами. Что Рим уже сейчас видит в них наследников.

Фаустина стояла выше, на ступенях храма. Она не смотрела на триумфаторов, на статуи и на золото. Она смотрела на сыновей.

Коммод держался хорошо. Глядел на толпу с детским любопытством, без страха, и мне показалось, что ему нравится, когда на него смотрят. Я тогда ещё не знал, чем это закончится.

Но я смотрел на ступени и считал. Один, два. Не хватало третьего. Годом раньше мы схоронили второго близнеца, Антонина. Ему было четыре.

Мне следовало быть стоиком. Я ничего не мог изменить, а значит, и страдать было незачем. Так учил Эпиктет: не горюй о том, что не в твоей власти. А я стоял на Капитолии с лавровым венком на голове, под рёв толпы, при всех золотых колесницах, и думал только о том, что чьи-то маленькие пальцы не держатся за мою тогу.

Я никому об этом не сказал. Записал позже, много лет спустя. Что человек, который считает себя стоиком, оказывается им только тогда, когда это ничего не стоит.

* * *

К вечеру праздник ушёл в город. Он гудел за стенами дворца, пел, смеялся, бил в бубны. На террасе было тихо. Я стоял один, непривычно лёгкий, без венка и без пурпура.

Внизу, во дворе, кто-то закашлялся. Долго, глухо, как кашляют люди, которых сгибает пополам. Потом кашель оборвался.

Я не пошёл смотреть. Снаружи было слишком хорошо, чтобы думать о том, что происходит внутри.

* * *

Руф пришёл на восьмой день после триумфа.

Он похудел и обветрился, на лице появились новые морщины. Стоял в дверях и мял в руке свёрток.

– В обозе больные, император, – сказал он. – Не от ран.

– Лихорадка?

– Не знаю, как назвать. Люди слабеют за два-три дня. Одни выздоравливают, другие нет. – Он помолчал. – Лекари говорят то же, что и вы: обычное дело после дальних походов.

Я слушал и думал о лихорадках, которые гуляют по армиям всегда: после болот, после дурной воды. Обычно проходят.

– Это не всё, – сказал Руф и протянул мне свёрток. – Письмо от одной женщины. Её зовут Фила, она в Эфесе. Я просил писать мне, если что-то случится.

Почерк был мелкий, твёрдый, аккуратный.

«Руф. Через Эфес идут ваши солдаты, и многие больны. Я лечу всех, кто приходит. Начинается с жара, потом язвы в горле, кашель, понос. На девятый-десятый день по телу идёт сыпь, у некоторых чёрная. Такого я не видела. В городе заболели те, кто выхаживал солдат. Мой учитель гово-

рил когда-то: болезнь, которая идёт за армией, идёт дальше армии. Я остаюсь здесь, пока есть кому лечить. Фила».

Я перечитал последние строки три раза.

В тот же вечер я созвал жрецов. Мы звали богов по римскому обычаю и по чужим. Устраивали лектистернии: раскладывали на ложах изображения богов и ставили перед ними угощение, как для гостей. Делали всё, что делали наши деды в такие времена. Я верил в это не очень. Но не знал, что ещё нужно делать.

* * *

На двенадцатый день после триумфа умер старый повар. Пожилой, молчаливый, из тех, кто служил ещё при Адриане. Его нашли утром в кладовой, жёлтого, с чёрными пятнами на руках. Лекарь развёл руками.

Я спросил, как его звали. Мне сказали: Эвтих. Я записал его имя на табличке.

Потом умерли ещё двое. Потом пятеро. Потом десять.

Я записывал имена ещё несколько дней. Потом перестал.

Потому что их стало слишком много.

К концу ноября Рим перестал праздновать.

Глава 14

Глава 13. Город без воздуха

Я давно не писал. Руки не слушались. Но эту главу пропускать нельзя.

Не буду рассказывать, как выглядела чума. Расскажу, как она звучала.

Скрип телег. Ночью и на рассвете, по главным улицам и по переулкам, медленно, ровно, как водяные часы. Телеги шли к Эсквилинским воротам. За ними тянулся запах: сладкий, тяжёлый, который не убивали ни сера, ни лавр, ни благовония. Потом стук молотка: кто-то заколачивал дверь. Потом тишина.

Храмы сначала были полны, потом опустели. Люди боялись и там собираться вместе. Те, у кого были деньги, уехали из города. Остались те, у кого их не было, и те, кому некуда было ехать.

Я приказал хоронить бедных за счёт казны. Это было всё, что я мог придумать. Мы с Люцием сидели над списками умерших, как над счетами. Счёт всё равно не сходился.

Первым из известных людей Рим покинул врач Гален. Тот самый юноша из Пергама, о котором говорила Фила. К тому времени он уже был знаменитостью, лечил сенаторов, писал дерзкие трактаты. И вдруг уехал домой, сославшись на неотложные дела. Все понимали, что это бегство. Я не осуждал.

Страх не дело философии, но и стыдить за него несправедливо. Через два года я сам вызову его на север, и он приедет. Но об этом позже.

* * *

В январе сто шестьдесят седьмого к воротам Палатина пришла женщина.

Она вошла в Рим пешком, по Остийской дороге, против потока людей, которые уходили. Серое платье, чёрная кожаная сумка через плечо, волосы стянуты в узел. Стража не хотела её пускать. Она сказала, что у неё письмо императору от римского трибуна. Стража послала за трибуном.

Руф вышел к воротам и остановился, как вкопанный.

– Ты, – сказал он.

– Я, – сказала Фила. – Ты похудел.

– Мы все похудели.

– Тогда поешь. Это приказ врача.

Он рассмеялся. Впервые за много недель, как сам потом признавался. Привёл её ко мне.

Я принял её в приёмной, куда уже давно никто не заходил без необходимости. Стол, два кресла, окно на двор. Она села без приглашения, поставила сумку на колени.

– Вы император? – спросила она. – Руф писал, что вы честный.

– Руф преувеличивает.

– Возможно, – сказала она. – Но других у меня нет. Мне нужен дом, август. Большой, с водой, подальше от рынков.

И человек двадцать, которые не боятся. И чтобы никто не мешал.

– Для чего?

– Для тех, кто никому не нужен. Рабов, нищих, чужестранцев. Богатых лечат дома. А этих выносят на улицу.

Я смотрел на неё и думал о том, что за всю чуму мне ещё никто не предложил дела. Только жертвы и отчёты.

– Вы знаете, как это остановить?

– Нет, – сказала она спокойно. – Никто не знает. Но я видела, что там, где больных держат отдельно от здоровых, умирает меньше. И что чистая вода лучше мутной. Это не медицина, император. Это здравый смысл.

– Здравый смысл редко становится государственной политикой, – сказал я.

– Тогда пусть станет, – сказала она.

Я дал ей большой дом на Целии, который принадлежал казне, и тридцать человек из дворцовой челяди, вызвавшихся добровольно. Двадцать из них остались до конца. Остальные умерли.

* * *

В те недели я часто ходил по городу пешком. Без свиты, в простом плаще, как ходил когда-то в молодости. Иногда со мной был Рустик.

Он был тогда префектом города: седой, сухой, прямой, как посох. Он учил меня не болтать и не лгать самому себе. Теперь он сам был стар, и когда мы шли по Форуму, я заме-

чал, что он тяжело дышит.

На площади у Ростр собралась толпа. Человек двадцать, не больше, но шумная. Седой торговец с перекошенным лицом срывал голос: боги разгневаны, потому что в Риме завелись безбожники. Те, кто не приносит жертв. Те, кто смеётся над алтарями. Надо их найти и очистить город.

Я остановился. Рустик положил руку мне на локоть.

– Не надо, – сказал он тихо. – Люди ищут виноватых. Так всегда было. Если не найдут, будут искать, пока не найдут.

Мы пошли дальше. Но его слова засели у меня в голове, потому что я знал, о ком кричал торговец.

* * *

За два года до этого Рустик судил философа.

Его звали Юстин. Он приехал в Рим из Самарии, носил философский плащ, держал небольшую школу и считал, что нашёл истину в учении христиан. Писал об этом книги, спорил с язычниками и с иудеями. Говорили, что на него донёс философ-циник, которого Юстин не раз публично побеждал в споре.

Его привели к Рустику вместе с шестью учениками. Я не присутствовал. Рустик рассказывал мне потом так, как рассказывают люди, у которых в руках весы.

Он вёл допрос по закону, спокойно, с той вежливостью, которая бывает только у римлян, когда им неприятно то, что они делают. Спросил, где они собираются. Юстин ответил, что там, где каждому удобно. Неужели вы думаете, сказал

он, что мы все помещаемся в одном месте?

Рустик спросил:

– Если тебя высекут и отрубят голову, ты веришь, что вознесёшься на небо?

– Я не верю, – сказал Юстин. – Я надеюсь.

Рустик предложил им принести жертву богам и подчиниться императорам. Они отказались. Сказали, что христиане не приносят жертв идолам.

Приговор был простой: высечь и обезглавить, как предписывает закон.

Когда Рустик закончил рассказ, я долго молчал. Потом спросил:

– Они были виновны?

– Они отказались принести жертву, – сказал он. – Это закон Траяна. Я не могу судить иначе.

Я кивнул.

Закон. Я, который когда-то сказал рабу, что закон не нужен тому, кто не умеет быть справедливым, кивнул.

* * *

Я не вмешался. Мог. Я был императором. Одно слово, и этих семерых отпустили бы. Но я не нашёл причины. Не потому, что был уверен в правоте закона. А потому, что мне казалось: если я начну делать исключения из каждого закона, который мне не нравится, то перестану быть тем, кто хранит законы.

Позже я напишу себе несколько строк о смерти. Что го-

товность уйти должна идти от собственного суждения, а не от упрямства, как у христиан. Я так написал. Я не уверен, что был справедлив. Но в тот день мне казалось, что это честнее, чем врать самому себе.

В тот вечер, возвращаясь во дворец, я прошёл мимо дома на Целии. Свет горел в каждом окне. Там лежали больные: рабы, нищие, чужестранцы. Там работала женщина с чёрной сумкой, которая никого не спрашивала, кому он молится.

Я постоял у ворот. Потом пошёл дальше.

Глава 15

Глава 14. Улица за верёвкой

Руф пришёл ночью и не стал садиться.

Это было в феврале, на второй месяц после появления Филы. Я работал над списками умерших, сидел под лампой с запавшими глазами, и когда он вошёл, я не сразу понял, что он сегодня другой. Обычно он приходил с докладом и стоял прямо, как посох. Теперь он стоял так, словно опирался на невидимую стену.

– Август, – сказал он. – У меня просьба. Не служебная.

– Говори.

– Фила считает, что мы делаем неправильно.

Я отложил стилос.

– Мы делаем то, что умеем. Хороним, раздаём хлеб, жжём серу. Что она предлагает?

– Запереть улицу.

Он сказал это тихо, и мне показалось, что я ослышался.

– Какую улицу?

– Любую, где начнётся. Как только в доме появляется больной, огородить весь переулок. Не пускать ни туда, ни оттуда. Кормить, поить, лечить изнутри. И держать, пока не пройдёт срок. Она говорит, что дней четырнадцать. Говорит, что болезнь идёт по людям, как огонь по соломе. Не нужно тушить солому. Нужно убрать солому вокруг.

Я слушал и думал о том, что слышал это уже однажды: на воротах Палатина, от женщины с чёрной сумкой. «Здравый смысл редко становится государственной политикой». Я сам так сказал, не думая, что мне когда-нибудь придётся это проверять.

– Это значит, – сказал я медленно, – что люди, которые ещё здоровы, окажутся заперты с теми, кто умирает.

– Да.

– Некоторые из них заболеют только потому, что мы их заперли.

– Да.

– А потом, когда они умрут, их дети спросят, кто подписал.

– Спросят, – сказал Руф. – Это будете вы. Или я, если вы откажете, а я сделаю без приказа.

Я посмотрел на него внимательно. Тридцать три года, седина у висков, которой в Эфесе ещё не было. Он не просил, а докладывал. Мне стало ясно, что он уже всё решил и пришёл не за разрешением, а за тем, чтобы я не остался в стороне.

– Какая улица?

– В Субуре. Переулок за красильнями, который называют Гусиным. Там с утра умерли двое. Дом в шесть этажей. В нём, по моим подсчётам, человек сто сорок. Переулок короткий, с двумя выходами, больше никуда не ведёт.

– Сколько тебе нужно людей?

– Сорок. Из моей когорты. Только добровольцев.

– Добровольцев не будет.

– Будут, – сказал Руф. – Когда я скажу, что платить будут вдвое. Не из казны. Из моего жалованья.

Это было так по-римски и так по-руфовски, что я не удержался от улыбки.

– Из казны, – сказал я. – Ещё не хватало, чтобы трибун ночной стражи содержал карантин на свои деньги. Утром принесёшь приказ, я подпишу.

Он кивнул. Уже на пороге обернулся:

– Император. Вы уверены?

– Нет, – сказал я. – Но больше мне никто ничего не предлагает.

* * *

Верёвку натянули на рассвете.

Это была самая простая верёвка, какой пользуются корабельщики, толстая, смоляная, в палец толщиной. Два столба вкопали на въезде и два на выезде, верёвку пустили в три ряда, а поверх повесили красные тряпки: не знаю чьё это было решение, но красное в Риме знают все. Сорок человек встали по двое с каждой стороны. Руф стоял у входа и, говорят, не двигался часа четыре.

Я пришёл ближе к полудню. Один, без свиты, в простом плаще. Встал в конце переулка, у лавки сапожника, которая теперь была закрыта, и стал смотреть.

Переулок был узкий, шагов в пятьдесят длиной, между глухими стенами красилен. Вверху, на высоте пятого этажа,

люди развесили сушиться бельё: оно не шелохнулось. Внизу, на камнях, стояли окрашенные лужи, синие и бурые. В глубине виднелась дверь высокого дома, чёрная, приоткрытая, и никто в неё не входил и не выходил.

Люди собрались с другой стороны верёвки, с нашей. Человек шестьдесят. Соседи, родственники, лавочники. Они не кричали. Смотрели на красные тряпки так, как смотрят на свежую могилу.

Одна женщина, с ребёнком на руках, подошла к самой верёвке и тихо сказала стражнику:

– Моя мать там. На четвёртом этаже.

– Мне жаль, – сказал стражник. Он был совсем молодой, из новобранцев.

– Она жива.

– Тем более. Никому нельзя.

– Я передам ей воду. Просто воду. Ты мне даже дотрагиваться не дашь.

Стражник посмотрел на Руфа. Руф ответил взглядом, который я знал: тот, что бывает у людей, когда они держат слишком много и не могут показать, как это тяжело.

– Воду передадим, – сказал он. – Вам не нужно подходить. Скажите, как зовут, куда нести.

Женщина заплакала, не закрывая лица.

Я не подошёл к ней. Я стоял и думал о другом: что эта верёвка, которая должна была остановить чуму, остановила в первую очередь людей. Она отделила тех, кто любит, от

тех, кого любят. И что я подписал это сегодня утром, сидя за столом, так же спокойно, как подписывал приказ о раздаче хлеба.

* * *

Фила вошла в дом в первый же день.

Её никто не просил. Руф стоял с другой стороны верёвки, и когда она подошла с чёрной сумкой и двумя помощниками, он сказал, что это не нужно, что у него есть врач, присланный от префекта. Она ответила, что врач префекта останется снаружи, потому что умеет считать только деньги. Сняла с плеч шерстяной плащ, перекинула через верёвку и шагнула следом.

– Вернись, – сказал Руф. Он сказал это так, что сорок человек отвернулись.

– Через четырнадцать дней, – сказала она. Не обернулась.

Он стоял у столба и смотрел ей вслед, пока дверь дома не закрылась. Потом повернулся к стражникам и вдруг скомандовал так громко, что у меня вздрогнула рука:

– Хлеб! Подводу с хлебом ко входу!

Хлеб пришёл от Фаустины.

Я узнал об этом потом. Моя жена поднялась до рассвета, вызвала двух своих пекарей и приказала испечь двести лепёшек: на сто сорок человек, с запасом. Не из дворцовой пекарни, а из тех, что она держала в Субуре для раздач бедным. Лепёшки шли в корзинах, горячие, с ячменной мукой и оливковым маслом. Привёз их, как оказалось, тот самый

пекарь, чья жена лежала дома больная и не смогла встать.

– Тебе не надо было, – сказал я Фаустине вечером. – Я бы распорядился.

– Ты бы распорядился через день, – сказала она. – У тебя бы три раза отредактировали, как писать «лепёшки».

– Это упрёк?

– Это бытовая наблюдательность. Не будь героем, Марк. Будь управляющим. Герои раздают на словах, а управляющие кормят на деле.

Она сказала это, расчёсывая волосы, не глядя на меня. Я сидел на краю кровати и вдруг подумал, что когда ей было восемь, она сказала мне почти то же самое, только про еду и про худобу.

* * *

На третий день в переулке появился учитель.

Его звали Тит Ватиний, и преподавал он грамматику мальчикам из лавочных семей в тесной комнатке на втором этаже того самого дома. Он оказался внутри, потому что жил там же: под самой крышей, где летом жарко, а зимой дует. Руф рассказал мне о нём вот что.

В тот день в переулок пришли родители учеников. Их было немного, четыре или пять мужчин. Они встали у верёвки и принялись кричать вверх, на окна пятого этажа, что их дети остались без уроков, а плата за зиму внесена вперёд. Руф хотел разогнать их, но в этот момент на пятом этаже распахнулось окно и оттуда высунулась голова в сером колпаке.

– Мальчики здесь? – крикнул Ватиний.

– Здесь, – ответили снизу. – Шестеро.

– А до дома добраться могут?

– Не пускают.

– Тогда пусть сядут на землю. Там, где слышно.

Они сели. Прямо на камни, на мокрые тряпки, у красного шнура. Ватиний уселся на подоконнике второго этажа, открыл книгу и начал читать вслух. Громко, чётко, с придыханием на греческих гласных.

Это была «Илиада». Первая песнь: гнев Ахиллеса, чума в лагере ахейцев, Аполлон, пускающий стрелы с серебряного лука. Он читал, а мальчики внизу повторяли по строчке, сначала вразнобой, потом всё стройнее, а за ними так же вразнобой повторяли родители.

Я пришёл на пятый день. Услышал ещё из-за угла и остановился.

Я никогда не любил Гомера так, как любил Эпиктета. Но в тот день, стоя в Гусином переулке, слушая, как шесть голосов, мальчишеских, хриплых, старательных, повторяют про девять дней стрел над лагерем греков, я почувствовал, что у меня подкатывает к горлу. Мальчики сидели под красными тряпками. Над ними шесть этажей, где умирали люди. А они читали про другую чуму, давнюю, которая прошла.

– Он сошёл с ума? – спросил я Руфа.

– Нет, – сказал Руф. – Это единственное, что держит дом. Фила говорит, что те, кто слышит голос снаружи, реже теря-

ют надежду. А те, кто не теряет надежду, чаще встают.

– Она это доказала?

– Нет. Она это видит.

Я вспомнил Аполлония и его вопрос: где ты живёшь? Теперь я знал, где живёт грамматик Ватиний. Он жил там, где его слышали ученики. И жить где-то ещё не умел.

* * *

На седьмую ночь верёвку чуть не порвали.

Я знаю об этом от самого Руфа, но кое-что видел собственными глазами, потому что уже несколько ночей подряд не мог спать и ходил вокруг переулка, прикрыв лицо капюшоном. Человек, который не спит, всегда оказывается там, где надо.

Началось с шума. Сначала со стороны Субуры, где до тех пор было тихо. Потом ближе. Из тёмной улицы вышла толпа, человек сто, а может, и больше. Впереди шёл седой торговец, которого я уже видел у Ростр, тот самый, с перекошенным лицом. В руках он держал смоляной факел, а за ним несли топоры.

– Они там умирают, а вы смотрите! – кричал он. – Это Марк запер! Император запер! Чтобы нас потом хоронить скопом, чтоб никто не видел, сколько нас!

Люди подхватили. Кто-то ударил по верёвке палкой. Красная тряпка, мокрая от ночного дождя, повисла, как лоскут кожи.

Руф стоял у столба.

Он не двинулся. Я видел, как стражники, сорок молодых мужчин, которым платили вдвое, но не платили столько, чтобы стоять перед сотней вооружённых людей, начали переминаться. Один положил руку на меч. Другой отступил на полшага.

– Ни шагу, – сказал Руф негромко.

Он не выхватил меч. Он просто выступил вперёд, положил ладонь на верёвку и сказал, обращаясь не к толпе, а к торговцу, спокойно, как говорят с человеком, которого давно знаешь:

– Ты хочешь, чтобы они умерли быстрее?

Торговец замер.

– Что?

– Вот там, на четвёртом этаже, – Руф показал вверх, – лежит твоя мать. Её зовут Валерия. Она у тебя из Тибура. Приехала зимой и слегла на второй день. Я записал вчера.

Я не знаю, правда ли это, или Руф знал, что делает. Я узнал потом, что торговца и правда звали Квинтом, и что мать у него действительно была в доме. Он не успел даже вскрикнуть.

– Она жива, – сказал Руф. – Фила дала ей мёду с водой. Пьёт. А если ты сейчас разрежешь верёвку, сто сорок человек выйдут на улицы, и через неделю твои соседи будут лежать, как она. Я не знаю, как это остановить. Фила не знает. Но мы пробуем. Пробуй с нами или убей меня, а потом объясняй людям, зачем.

Я до сих пор помню тишину.

Квинт смотрел на него. Лицо у него дрожало. Факел накренился, и смола капнула на камни.

– Я... – сказал он. – Я хотел её увидеть.

– Вниз, – сказал Руф. – Через верёвку. Там, на четвёртом этаже, есть окно, выходящее в переулок. Если встанешь под ним, она тебя увидит. Ватиний вас покажет.

Люди расходились медленно, как расходятся после проигранного спора. Некоторые остались. Квинт стоял под четвёртым окном до утра и звал мать по имени, тихо, чтобы не разбудить других, и никто не прогонял его.

Я вышел из тени только тогда, когда они ушли.

– Ты солгал, – сказал я.

– Нет.

– Ты не мог знать про Валерию из Тибура.

– Я знаю про каждую душу в этом доме, – сказал Руф. – Это единственное, что я могу для них делать. Я записываю имена. Утром и вечером. Фила приносит списки.

Он снял руку с верёвки. Я увидел, что ладонь у него в крови: он так вцепился в смолёные волокна, что стёр кожу.

– Руф.

– Я в порядке.

– Ты стоишь четвёртые сутки.

– Я не стою. Я держу.

Я не нашёл, что на это ответить.

* * *

На восьмой день его позвали в дом.

Он не должен был входить. Это правило написала сама Фила: никто из внешних, никаких исключений. Но в восемь утра Руфу доложили: молодой стражник, из тех, что стояли у верёвки в первую ночь, нарушил запрет. Ночью, пока Руф отлучился, он перемахнул через верёвку и побежал к дому. Там лежала его сестра.

Он провёл с ней два часа. Потом, увидев, что наделал, вышел обратно. Вернуться за верёвку не мог. Остался в переулке, на ступенях, и к утру начал дрожать.

Его звали Лупп. Руф рассказал мне о нём потом одной фразой, и больше никогда не вспоминал.

– Вы хотите знать, что я сделал? – сказал он тогда. – Я его не наказал. Я сел рядом.

Они просидели так почти до полудня. Руф не прикасался к нему. Не смел. Он просто сидел в трёх шагах, говорил о чём-то будничном: о том, что в казармах плохо кормят, что у Луппа сестра, вроде, умеет петь, что он, Руф, после смены обязательно спросит. Лупп слушал, не отвечая. Потом сказал:

– Трибун, я знаю, что нельзя. Но она одна.

– Знаю, – сказал Руф.

К вечеру Лупп лежал на втором этаже, и Фила стояла над ним.

Он умер на третий день. Сестра выжила.

Когда мне рассказали об этом, я не стал спрашивать, хо-

рошо ли это или плохо. Я просто слушал и повторял про себя: один умер, чтобы жила другая. Этого не сосчитать. Да я и не хотел считать.

* * *

В ночь на десятый день я сам встал у верёвки.

Не помню, как это случилось. Руф не спал уже пятые сутки, и Фила прислала записку, что если он не ляжет, ей придётся лечить ещё и его. Он спорил, но тут я вышел из темноты, откинул капюшон и сказал, что подежурю.

– Император...

– Иди.

– Но вы...

– Я ночью всё равно не сплю, – сказал я. – Хоть какая-то польза. Иди, Руф.

Он помедлил. Потом отдал мне ключ от кладовой с хлебом и ушёл, шатаясь, как человек, который наконец-то разрешил себе упасть.

Я встал у столба. Стражники сначала не знали, как со мной держаться. Один, пожилой, с лицом рыбака, пробурчал, что император не должен стоять на посту, как простой солдат. Я ответил, что именно это и значит быть императором: стоять там, где ты приказал стоять другим.

Это была просто фраза. Но к утру я понял, что она была верна.

Ночь шла медленно. Над Субурой висел прозрачный холодный туман. В доме иногда вскрикивали, потом затихали.

Сверху, с крыши, кто-то пел нестройным старческим голосом. На пятом этаже в окне горела лампа: там сидел Ватиний и читал, больше не для учеников, а для всех.

Под утро ко мне подошёл Квинт.

Он стоял у верёвки в десяти шагах. Мы оба знали, кто мы. Он видел императора, который не спит, который держит пост, и ничего не говорил.

– Как она? – спросил я.

– Ест. Фила сказала, что встанет через пять дней.

– Хорошо.

– Вы нас запирали, – сказал он.

– Я.

– Зачем?

Я подумал. Я мог сказать что-нибудь красивое. Про долг, про государство, про общее благо. Но на верёвке были мокрые красные тряпки, и надо мной горела лампа на пятом этаже.

– Не знаю, поможет ли это, – сказал я. – Знаю только, что без этого было бы хуже. Но я могу ошибаться.

Квинт долго молчал.

– Первый раз слышу, чтоб начальство говорило «могу ошибаться», – сказал он.

– Привыкай. Я это часто говорю.

– Вы не похожи на императора.

– Ты тоже не очень похож на человека, который хотел сжечь дом, – сказал я.

Он коротко, хрипло усмехнулся. Потом сел на камни и стал ждать рассвета.

* * *

На четырнадцатый день верёвку сняли.

Фила вышла из дома последней. Она шла по переулку медленно, и я не сразу узнал её: она осунулась до костей, платье висело, под глазами лежали тёмные круги. Чёрная сумка волочилась по камням. За ней, придерживая друг друга, выходили живые.

Мне сказали цифры. Из ста сорока трёх человек умерло тридцать девять. Я записал и стал считать, как считал всё в те годы. Тридцать девять. Больше четверти. Лупп. Дочь булочника. Двое братьев с третьего этажа. Старуха, которая пела на крыше.

Руф стоял у столба. Он спал четыре часа за пять суток, но стоял прямо. Когда Фила дошла до него, он сделал шаг и остановился.

– Ты вернулась, – сказал он.

– Ты считал дни, – сказала она.

– Четырнадцать.

– Двадцать два, – сказала она. – Я просидела лишних восемь. Нужно было убедиться, что никто больше не заболеет.

– Фила...

– Помолчи, – сказала она. – Просто помолчи.

Он помолчал. Она положила голову ему на плечо, не обнимая, как кладут голову на каменный парапет, и так они

простояли, наверное, с минуту. Стражники отвернулись. Я тоже.

* * *

Позже, уже во дворце, я спросил Филу, много ли это значит. Тридцать девять из ста сорока трёх, и сколько умерло бы без верёвки.

– Не знаю, – сказала она.

– Как не знаешь? Ты же врач.

– В соседнем доме, – сказала она, – где никто не запирался, за те же две недели умерло семьдесят человек из двухсот. Но это ничего не доказывает. Дом другой. Люди другие. Может быть, нам просто повезло, что в нашем доме заболело меньше людей сразу. Я не могу этого проверить. Я могу только сказать, что мне кажется: так было лучше.

– Тебе кажется.

– Да, император. Мне кажется. Это всё, что у нас есть. Но я бы всё равно сделала то же самое.

Я кивнул. Я понял, что мне нравится это «кажется». В нём было больше честности, чем во всех отчётах префектов, где цифры шли ровными колонками, и никто не мог объяснить, откуда они.

На следующей неделе по всем кварталам Рима объявили приказ: в каждом доме, где обнаружат больного, преторианцы и стража обязаны огородить улицу и держать срок. Приказ я подписал. Потом к нему прибавились уточнения, правила передачи воды, правила выхода, запрет на торговлю на

границе. Я не ждал, что это станет делом тысячи рук. Но оно стало.

Верёвку из Гусиного переулка Руф хранил долго. Он аккуратно смотал её, как моряки мотают конец, и забрал домой. Когда я как-то спросил, зачем, он пожал плечами.

– Не знаю. Просто чтобы была.

Ватиний вернулся к своим мальчикам. В марте он снова открыл комнатку над красильней, и по утрам оттуда доносились греческие слова вперемешку с кашлем и смехом: шесть голосов, потом семь, потом десять. Они дошли до второй песни, где корабли, и кто-то из них, не знаю кто, спросил, правда ли, что на улице за верёвкой был император.

Ватиний ответил, что нет. Он сказал, что это был просто человек в плаще, которому не спалось.

Глава 16

Глава 15. Трещина в стене

Ветер сегодня с севера. Холодно. Пишу, пока лампа не погасла.

Рим привык, что варвары стоят где-то там, за рекой, как стоят волки за околицей: слышно, но не страшно. Для нас граница была не линией на карте, а привычкой. Мы думали, что она вечная.

В год, когда чума вошла в наши дома, привычка треснула.

Первой пришла весть о лангобардах и убиях. Шесть тысяч человек перешли Дунай и вошли в Паннонию. Наши наместники их отбили и выдворили, но я читал донесение и чувствовал, что дело не в этих шести тысячах. За ними стояли другие. Целые народы, которых кто-то гнал с севера, из тёмных лесов, о которых мы знали только по слухам. Они не хотели нашего золота. Они просто бежали от своих врагов, и единственная дорога вела через нас.

А у нас была чума. И в легионах не хватало людей.

* * *

Людей мы взяли там, где они были.

Рабов, которые соглашались воевать, я записал в легионы и обещал им свободу. Разбойников из Далмации и Дардании, которые лучше многих знали горы, нанял. А потом пошёл в школу гладиаторов, чего не делал никогда в жизни.

Это был Великий Лудус, рядом с амфитеатром. Длинный двор, тренировочные ямы, запах пота, железа и кислого вина. Содержатель школы вышел мне навстречу, мял в руках шапку и бормотал о цене. Я сказал, что платить буду и сколько надо, но сначала хочу поговорить с людьми.

Мне привели одного. Фракиец по прозвищу Секунд, лет тридцати, широкий в плечах, с рассечённой бровью и руками, на которых не было живого места. Смотрел прямо и без почтения.

– Ты умеешь стоять в строю? – спросил я.

– Я умею стоять напротив, – сказал он. – Одного убиваю хорошо. Стену не умею.

– Научим.

– Учите, – сказал он спокойно. – Мы быстро учимся. Если не научился, дальше не учат.

Я смотрел на его шрамы и не знал, о чём спрашивать дальше. Потом спросил то, что мучило меня:

– За что ты будешь умирать?

Он засмеялся коротко, хрипло.

– За хозяина. Как всегда.

– У тебя больше не будет хозяина.

– Тогда не знаю, – сказал он. И впервые отвёл глаза. – Я не думал об этом.

Я выкупил столько, сколько нашлось. Их стали называть Послушными. Они оказались хорошими солдатами. Но я не забыл ни того разговора, ни того, как Секунд отвёл взгляд.

Человека, которого всю жизнь учили умирать на арене ради забавы толпы, не пугает смерть. Он просто не знает, за что стоит умирать.

Я хотел, чтобы они знали хотя бы это. Но, кажется, так и не сумел им объяснить.

* * *

Весной сто шестьдесят восьмого мы выехали на север.

Я помню прощание с Римом. Пустые улицы, закрытые двери. Фаустина стояла на пороге и не плакала. Дети держались за её платье. Коммод смотрел на меня серьёзно, как взрослый. Я поцеловал его в лоб и сел в повозку.

Руф ехал со мной. Накануне вечером он зашёл на Целий.

Я знаю об этом разговоре от него. Фила спала сидя, на ящике у входа в палатку, прислонившись к опорному шесту, с раскрытым свитком на коленях. Рядом тихо стонал кто-то из больных. Он тронул её за плечо, и она открыла глаза сразу, как открывают их люди, привыкшие просыпаться от стона.

– Завтра на рассвете, – сказал он. – На север.

– Не обещай ничего. Ты солдат. – Она потёрла лицо ладонями. – Вернись живым. Остальное неважно.

Он хотел что-то сказать. Она положила ладонь ему на губы.

– Иди. Мне надо работать.

* * *

Мы шли через Альпы, и горы были так красивы, что я забывал, зачем иду. Белые вершины над зелёными долинами,

холодные ручьи, запах хвои. Люций ехал рядом и первые дни молчал. Потом начал шутить, и я понял, что он счастлив: дорога, поход, свежий воздух.

В Аквилею мы вошли в начале лета.

Аквилея была богатым городом. Широкие улицы, склады, на причалах янтарь с далёкого Балтийского моря, который покупали все женщины Рима. Город веками жил торговлей и не знал войны.

Но уже на подступах мы увидели лагерь. Тысячи палаток, и в них лежали люди.

Чума пришла сюда раньше нас. Она шла за армиями, как собака за обозом. Солдаты умирали тихо, на соломе, с чёрными пятнами на коже. Над лагерем висел знакомый запах. Я шёл между рядами и вспоминал старого повара Эвтиха. Теперь вместо одного имени были сотни.

Люций остановился рядом со мной и долго смотрел.

– Это не война, – сказал он наконец. – Это что-то другое.

* * *

Гален приехал через неделю.

Мы вызвали его письмом, как и обещали. Он прибыл налегке, с видом человека, который твёрдо решил не оставаться: невысокий, сухой, лет тридцати восьми, с острым носом и очень внимательным взглядом. Осмотрел лагерь, не говоря ни слова. Потом осмотрел меня, не спрашивая разрешения: пощупал живот, посмотрел язык, заглянул в глаза.

– Вы слишком мало едите и слишком много думаете, –

сказал он. – Одно лечится. Второе нет.

Я предложил ему ехать с нами на север. Он помолчал и ответил, что это невозможно: ему приснился Асклепий и велел не ехать в Германию.

Мы оба знали, что он врёт. И что я позволю.

Я оставил его в Риме, при Коммоде. Теперь, когда я пишу это, мне кажется, что в тот день я поступил лучше, чем сам понял. Гален прожил долго, лечил многих и записал всё, что видел. Благодаря ему мы знаем, как выглядела эта болезнь, и благодаря ему мой сын не умер ребёнком.

* * *

В ту ночь в Аквилее я долго не мог уснуть. Вышел во двор и услышал шаги.

Это был Люций. Он стоял у колодца, босой, в одной тунике, и смотрел на звёзды. Я подошёл и встал рядом.

– Давай вернёмся в Рим, – сказал он, не оборачиваясь.

– Ты же хотел воевать.

– Здесь не с кем воевать. Германцы притихли, послы просят мира. А мы сидим в чумном лагере и ждём, когда нас накроет.

– Нужно держать границу.

– Граница постоит без нас, – сказал Люций. – Рим не постоит. Ты видел, что там творится?

– Рим стоит на границе, – сказал я. – Уйдём отсюда, и через год чума будет не только в лагере.

– Красиво, – сказал он и наконец повернулся ко мне. –

Очень по-твоему. Только ты не за границу держишься, брат. Ты боишься вернуться в Рим, где все смотрят на тебя и ждут, что ты скажешь, что делать с чумой. А ты не знаешь. Здесь можно делать вид, что у тебя есть война.

Я молчал.

Это было несправедливо, и это было точно. Я стоял у колодца под звёздами и чувствовал, как мои собственные доводы становятся тонкими, как лёд.

– До зимы, – сказал я наконец. – Если германцы пришлют послов с миром, мы вернёмся.

– Вот это ответ императора, – сказал Люций без улыбки.

Он ушёл в дом, не пожелав спокойной ночи. Я остался один у колодца. Мы расстались не врагами, а двумя усталыми людьми, которым нечего было добавить.

Но я запомнил, каким он был в ту ночь: загорелый, сильный, с блестящими от гнева глазами. Потом, в Альтине, я пытался вспомнить его лицо и видел только это.

Глава 17

Глава 16. Дорога в Альтин

Это трудная глава. Я откладывал её много ночей. Пишу коротко.

Мы выехали из Аквилеи в начале зимы, когда горы уже побелели. Дорога на Рим была свободной: германцы притихли, послы ходили туда-сюда, а чума в лагере понемногу отступала. Я ехал в одной повозке с Люцием. Нам так хотелось: тесно, тепло, не нужно говорить громко.

Он был в хорошем настроении. Шутил над сенаторами, над лекарями, над моей привычкой вставать на заре. Рассказывал, что построит под Римом большую виллу, с садом, с конюшней, и приедет туда жить, когда все войны кончатся.

– А ты где жить будешь? – спросил он.

– Не знаю.

– Приезжай ко мне. Будешь читать, а я буду мешать.

– Ты всегда мешал.

– Знаю, – сказал он. – Это моё призвание.

Мы замолчали. Колёса поскрипывали на мёрзлой дороге. За окном тянулись голые поля, редкие огни деревень. Где-то в стороне бежала река, и я думал о том, что давно не слышал такой простой тишины.

Потом Люций сказал, не глядя на меня:

– Знаешь, чего я боялся больше всего?

– Чего?

– Что ты окажешься лучше меня, и это будет заметно.

– Это было заметно всегда.

– Тогда хорошо, – сказал он, – что у меня хватило ума любить тебя за это, а не ненавидеть.

Я хотел ответить. Не нашёл слов. Посмотрел на него.

Он поднёс руку к виску.

Лицо его изменилось не сразу. Сначала только взгляд: он стал смотреть куда-то мимо меня, будто видел что-то за моей спиной. Потом губы дрогнули, рот чуть перекосило. Он хотел что-то сказать, и вместо слов вышел странный, тихий звук. Тело его качнулось вбок, и я подхватил его прежде, чем он упал.

Я закричал, чтобы остановили повозку.

* * *

Нас было немного: возница, два стражника, я и Руф, ехавший верхом позади. Мы вынесли его на руках. Рядом оказался дом, придорожный постоялый двор, и хозяин в панике освободил для нас лучшую комнату.

Город назывался Альтин. Там, у лагуны, где земля смешивается с водой и ничто не стоит твёрдо.

Три врача сменяли друг друга. Они осматривали его, переговаривались шёпотом, пускали кровь, как велит обычай. Один из них сказал мне то, что я и сам понимал: удар. Кровь в голове. Остаётся ждать.

Люций лежал на узкой кровати, и лицо его было стран-

но спокойным. Он не говорил. Только дышал, тяжело, с хрипом. Правая рука не слушалась, левая слабо шевелилась на одеяле.

Я сел рядом и взял эту руку.

Так я просидел три дня.

Я не помню еды, не помню сна. Помню огонь в очаге и запах мокрой шерсти. Помню, как Руф приносил воду и ставил кувшин у двери, молча, и тихо выходил. Помню, как на вторую ночь Люций открыл глаза и посмотрел на меня.

Он пытался заговорить. Губы его шевелились, но слова не складывались. Тогда он сжал мою руку, слабо, но я почувствовал. И посмотрел на меня так, как смотрел когда-то у ворот, с кубком в руке: с усмешкой и с чем-то ещё, чему нет имени.

Я не знаю, что он хотел сказать.

Может быть, то, что сказал в повозке. Может быть, что-то другое. Я потом сто раз перебирал варианты. Ни один не подошёл.

На рассвете третьего дня он умер.

Я закрыл ему глаза. Сидел ещё долго, не отпуская руки. Ему было тридцать восемь лет.

* * *

Когда я вышел из комнаты, Руф стоял в коридоре. Он был бледен, глаза красные.

– Август... – начал он.

– Не надо, – сказал я.

Он кивнул. Постоял и сказал тихо:

– Он был хорошим человеком. Я не сразу это понял.

– Я тоже, – сказал я.

Мы стояли рядом, двое взрослых мужчин, которые не умели плакать на людях. Потом я пошёл распоряжаться. Тело нужно было везти в Рим.

* * *

Слухи пошли раньше, чем мы добрались до столицы.

Говорили, что я отравил брата. Из зависти, из страха, из желания править одному. Говорили, что это сделала Фаустина, потому что Люций был с ней слишком близок. Говорили, что накормили его испорченными устрицами. Говорили всё, что люди обычно говорят о смерти тех, кто стоит близко к трону.

Я не оправдывался. Это было бесполезно. Если я скажу правду, мне не поверят. Если промолчу, всё равно не поверят. Но я знал, что будет верно: рано или поздно слухи умрут, а он останется тем, кем был. Человеком, который умер от удара в повозке рядом с братом.

В Риме я встретил его тело у ворот. Похороны были пышными. Его положили в гробницу Адриана, рядом с теми, кто правил до нас. Сенат объявил его божественным. Я назначил жрецов, которые будут совершать обряды в его честь. Это всё было правильно и необходимо.

Но я стоял там, в траурной тоге, и думал о том, что весь этот блеск не имеет к нему никакого отношения. Он бы сме-

ялся над этим. Сказал бы, что цирк лучше.

* * *

После похорон ко мне подошла Лукилла.

Она была в чёрном, прямая, с сухими глазами. Ей было двадцать. Позади, у стены, няньки держали её детей. Она остановилась передо мной.

– Он был добрым, – сказала она.

Я молчал.

– Ты спрашивал меня на причале, добрый он или сильный. Ты сам ответил: добрый и слабый. Я думала, что это недостаток. А это оказалось не так.

– Лукилла...

– Не говори мне, что всё будет хорошо, – сказала она. – Я знаю, что ты хочешь выдать меня замуж ещё раз. Не сейчас. Прошу тебя. Позволь мне немного побыть вдовой.

Я кивнул. Она повернулась и пошла к детям, маленькая и очень прямая в своём чёрном платье.

Я смотрел ей вслед и вдруг понял, что боюсь собственной дочери. Не её гнева. Её ясности.

* * *

Позже я запишу себе строки о брате. Что благодарен богам за то, что у меня был такой брат: чей нрав заставлял меня следить за собой, и чья любовь и уважение приносили мне радость. Я напишу это просто. Без украшений. Лучше сказать нельзя.

В ту ночь после похорон я остался один в пустой комнате.

За окном шумел город, где ничего не изменилось. Горели огни, спорили торговцы, где-то пели. Рим переживал чуму, но жил.

Я вспомнил ту ночь, когда мне было сорок лет без полутора месяцев. Как я стоял у ворот его дома в Риме и говорил брату:

Теперь нас двое.

Теперь я сказал бы совсем другое.

Теперь я один.

Глава 18

Глава 17. Распродажа

Ночь. Часовые тихо перекликаются. Я хочу рассказать об одном смешном дне. Мне давно не было смешно, пусть хотя бы вспоминать будет легче.

Когда хоронишь брата, а над границей собираются тучи, есть вопрос, который не даёт покоя: чем платить за войну?

Казна была пуста. Чума выкосила людей, а вместе с людьми налоги. Провинции, где умерла треть жителей, не могли ничего дать. Взять с них больше значило добить тех, кто ещё держался. Я смотрел на счета и чувствовал, как в груди растёт холодная тяжесть.

Один из советников предложил поднять сборы. Другой предложил обратиться к богатым семьям с просьбой о добровольных пожертвованиях. Третий предложил просто занять у храмов.

Я слушал и думал: а что у меня самого? Не у казны, не у государства. У меня.

Я пошёл к сенату и сказал им то, что до сих пор помню слово в слово. Что у нас нет ничего своего. Что даже дом, в котором мы живём, принадлежит им. Что если война требует денег, а у народа их нет, значит, пора продавать то, что мы держали для себя.

Сенаторы переглянулись. Кто-то хмыкнул. Кто-то сказал,

что это невозможно, ведь это императорская утварь.

– Именно поэтому, – сказал я.

* * *

Вечером я рассказал Фаустине.

Она стояла у окна, в простом домашнем платье, без украшений. Выслушала, не перебивая. Потом отошла к большому сундуку у стены и откинула крышку. Внутри лежали шелка, шитые золотом, пурпурные ткани, жемчуг, камни.

– Что берёшь? – спросила она.

Я растерялся.

– Я не прошу всё...

– Всё и берёшь, – сказала она. – Не в этом дело. Если ты продашь половину, люди скажут, что император копит остальное. Продавать так продавать.

Я смотрел на жену. Тридцать девять лет. Красивая, жёсткая, умная. О ней ходило много слухов: что она неверна, что любит гладиаторов, что водит дружбу с актёрами. Мне советовали развестись. Я отвечал: тогда придётся вернуть и приданое. Все понимали, о каком приданом речь: империя пришла ко мне через неё.

Я верил ей, или не хотел не верить. Это не всегда разные вещи.

– Это подарки отца, – сказала она, проводя рукой по шёлку. – Я их никогда не любила. Слишком тяжёлые.

– Оставь себе что-нибудь.

Она подумала.

– Оставлю вот это, – сказала она и достала из сундука маленькую деревянную шкатулку. Внутри лежали детские игрушки. Погремушки близнецов. Одной из них больше нет. – Остальное продавай.

Я не нашёл, что сказать. Просто взял её за руку.

* * *

Торги проходили на форуме Траяна.

Это самое красивое место в Риме. Колоннада из белого мрамора, базилика, библиотеки, и в центре колонна, на которой навеки застыли дакийские войны. Под этой колонной, в тени её рельефов, стояли столы, а на столах лежали вещи императорского дома.

Глашатаи кричали с утра до вечера. Золотые кубки, хрустальные вазы, сосуды из разноцветного камня. Ткани, шитые золотом: часть из них были платья императрицы. Драгоценные камни, которые когда-то спрятал в тайнике Адриан, и о которых никто не знал, пока мы их не нашли.

Торги шли два месяца.

Я пришёл в первый день, в простой тоге, и встал у колонны. Никто меня не узнал, или сделал вид. Я смотрел на людей. Купцы с цепкими глазами. Матроны, которые щупали шёлк и торговались. Рабы сенаторов, посланные присмотреть что-нибудь для хозяев. Мальчишки, прибежавшие просто поглазеть.

Пожилая женщина в грубом плаще купила платок Фаустины. Заплатила, достала из кошеля последние монеты, пере-

считала дважды. Потом закуталась в него и сказала соседке громко, чтобы слышали все:

– Для внучки. В приданое. Пусть знает, что носила императрица.

Я отвернулся. У меня сжалось горло.

В тот день я понял одну вещь. Всю жизнь я думал, что власть держится на законах, на армии, на традиции. А она, оказывается, держится ещё и на этом: на желании человека прикоснуться к чему-то большему, чем он сам. И на готовности этого большего ради него стать меньше.

* * *

В последний день торгов ко мне подошёл Руф. С ним была Фила.

Она выглядела уставшей. За два года она постарела лет на пять: тонкие морщины у глаз, сухие руки, ранняя седина на висках. Но взгляд остался тот же, ясный и насмешливый.

– Богатые покупают кубки, – сказала она вместо приветствия, – пока бедные умирают. Хорошо придумано.

– Ты права, – сказал я.

– Я знаю.

– Часть денег пойдёт на твой дом.

Она подняла брови.

– На какую часть я могу рассчитывать?

– На ту, которую ты назовёшь.

Фила назвала. Сумма была скромной. Я потом удивлялся, как мало она просила.

Когда они ушли, я видел издалека, как Руф что-то говорит ей, неловко и тихо. Она слушала, не поднимая глаз. Потом сказала что-то короткое. Он остановился. Она пошла дальше одна.

Он догнал её через несколько шагов.

Я не слышал разговора. Руф рассказал мне позже, много позже. Он спросил, выйдет ли она за него замуж, когда кончится война. Она ответила: спроси, когда вернёшься. Тогда посмотрим.

Он сказал, что это был лучший ответ, который он мог получить.

* * *

Я уехал из Рима осенью, снова на север.

Перед отъездом я сделал то, о чём до сих пор не решаюсь писать подробно. Лукилла просила меня дать ей время быть вдовой. Я не дал. Через несколько месяцев после похорон Люция я отдал её замуж за Клавдия Помпеяна, сирийца из Антиохии, человека лет сорока пяти, опытного генерала, из тех, кому я мог доверить армию. Он был старше дочери почти на четверть века и низкого рода. Фаустина возражала. Лукилла не сказала ничего.

Я убеждал себя, что делаю это для империи. Что мне нужны люди, которым можно верить. Что Помпеян справится с войной лучше любого сенатора. Всё это было правдой. Но правдой было и то, что я нарушил слово, данное дочери.

Позже, на Дунае, я часто думал об этом.

Проданные вещи так и остались в руках покупателей. Через несколько лет, когда война повернулась к победе, я объявил, что верну деньги тем, кто пожелает вернуть купленное. Вернули немногие. Я не упрекнул ни тех, ни других.

Мне было сорок восемь лет. Я продал всё, что можно продать. Я не продал Рим.

Но я ещё не знал, сколько он стоит.

Глава 19

Глава 18. Повязки

Дверь в покои дочери я за девять недель открыл один раз, и то по ошибке.

Мне нужен был Фронтонов свиток, который она когда-то взяла почитать. Я вошёл, не постучав, и увидел, что она сидит на полу, на ковре, и учит свою маленькую дочь складывать из лоскутов домик. Лукилла подняла голову. Лицо у неё было спокойное, без слёз, без упрёка, и от этого мне захотелось выйти так же тихо, как я вошёл.

– Свиток на полке справа, – сказала она. – Третий сверху.

– Спасибо.

– Не за что, отец.

Я взял свиток и вышел. Больше я до самой свадьбы не заходил к ней.

Я рассказываю об этом потому, что хорошо помню, как был занят. Торги на форуме, сборы, письма в провинции, списки для новых легионов. Я говорил себе, что дочери сейчас лучше побыть одной. Это называется разумной заботливостью. На самом деле я не знал, что ей сказать, и прятался за делами, как прячутся за щитом.

Вместо меня с ней говорил Руф.

* * *

Это вышло случайно. Я послал его на Палатин с докладом

для Фаустины о лагерях на севере, а он, возвращаясь, увидел в саду Лукиллу. Она стояла у фонтана, одна, с корзиной недочитанных писем. Соболезнования, которые писали ей из всех концов империи. Она разбирала их и откладывала, не распечатав.

– Трибун, – сказала она. – Вы были при нём?

Она не назвала имени. Не нужно было.

– В Альтине, – сказал Руф. – Да.

– Расскажите.

– Госпожа, я не думаю...

– Мне никто не рассказывает, – сказала она. – Отец говорит, что было быстро. Мама говорит, что не надо вспоминать. Остальные кланяются. Мне девятнадцать лет, я вдова, и я не знаю, как умер мой муж.

Руф стоял перед ней с полминуты. Потом сел на край фонтана, прямо на мокрый камень, что для римского офицера перед принцессой почти немыслимо, и рассказал.

Он рассказал про повозку и про дорогу из Аквилеи. Про то, как Люций сначала шутил, а потом замолчал и стал водить рукой по лбу, будто что-то стирал. Про то, как он перестал узнавать слова. Про три дня в Альтине, где он лежал и почти не приходил в сознание, а когда приходил, спрашивал, не вернулся ли брат из соседней комнаты.

– Он не мучился? – спросила она.

– Не знаю, – сказал Руф. – Я хочу сказать вам, что не мучился. Но я не знаю. Врач говорил, что нет. Врач мог оши-

баться.

Лукилла посмотрела на него долгим взглядом.

– Вы первый человек за три недели, кто не соврал.

– Я стараюсь не врать женщинам, которые тоже умеют считать, – сказал он.

Она коротко, неожиданно улыбнулась. Потом отвернулась и заплакала, наконец, как плачут дети: громко, некрасиво, закрыв лицо рукой. Руф не двинулся с места. Он сидел рядом и смотрел на воду, пока она не кончила.

Потом он приходил в сад каждый раз, когда бывал во дворце. Не по приказу. Просто потому что она однажды сказала, что в саду лучше всего думается, когда есть с кем помолчать.

* * *

Про Помпеяна я решил в апреле.

Я долго перебирал имена. Среди сенаторов моего возраста почти не было людей, которым я доверил бы армию. Молодые не знали войны, старые не хотели её. Клавдий Помпеян, уроженец Антиохии, сын всадника, воевал на Востоке и в Паннонии, командовал крепко и не искал славы. Он не жаловался и не просил. Его прямота мне нравилась. Тогда я не задумывался, нравилась ли она кому-нибудь ещё.

Фаустина узнала раньше, чем я успел ей сказать.

– Ему сорок шесть, – сказала она за ужином, не дав мне закончить. – Нашей дочери девятнадцать. Он сириец. Его отец ходил по провинциальным делам, а дед, я думаю, вооб-

ще торговал.

– Он хороший полководец.

– Мне нужен зять, Марк, не полководец. Ты продаёшь мои платья, чтобы заплатить армии, а потом отдаёшь нашу дочь тому, кто будет командовать этой армией.

– Мне нужен человек, которому я могу доверить Дунай.

– Тебе нужен хозяин для Дуная, – сказала она. – Это разные вещи.

Я хотел ответить что-нибудь умное. Не ответил. Фаустина отодвинула блюдо и ушла к себе. Дочь всё слышала через дверь, потому что ей было велено ждать в соседней комнате. Когда я потом вспоминал этот вечер, я понимал, что единственная, кто никому ничего не сказал, была она.

* * *

Помпеян приехал знакомиться в мае.

Я присутствовал только в начале. Он вошёл в зал, остановился в трёх шагах от Лукиллы и поклонился ей, как кланяются старшему по званию, коротко и без украшений. Он был невысоким и плотным. Загорелое лицо, шрам на левой щеке, руки, привыкшие держать узду. Голос оказался неожиданно тихим.

– Госпожа, я не принёс вам подарков. Я не знал, что вы любите, а выбирать наугад было бы пошло.

– Благодарю за честность, – сказала Лукилла.

Я вышел. Остальное мне пересказал Руф, который стоял за дверью, потому что Фаустина велела ему не отходить, и

потому что он сам хотел знать.

Они сидели друг против друга и некоторое время молчали. Потом Лукилла спросила:

– Сколько вам лет?

– Сорок шесть.

– Вы знаете, что я вас не люблю?

– Знаю. Я вас тоже пока не люблю, – сказал он. – Мы видимся в первый раз.

Лукилла чуть подняла брови.

– Вы считаете, что это придёт?

– Не знаю. Бывает, что не приходит. Я не буду врать, что обязательно придёт. Но обещаю две вещи. Я не буду вас бить и не буду вас стыдить. Всё остальное мы выясним по дороге.

– Это немного.

– Для меня не мало, – сказал он. – Я видел жён, которых бьют и стыдят. Я видел мужей, которые считают, что это и есть брак.

Она помолчала.

– Мой первый муж пел мне песни, – сказала она. – Плохо, но от души. Вы поёте?

– Нет.

– Тогда с этим тоже всё ясно.

Она встала. Помпеян встал вслед за ней, как встают в присутствии командира. Лукилла протянула ему руку, и он взял её осторожно, будто боялся сломать.

Руф рассказал, что потом, в коридоре, Помпеян задержал-

ся и спросил его вполголоса:

– Трибун, она всегда такая?

– Не знаю, – сказал Руф. – Я с ней знаком три месяца.

– Я тоже, – сказал Помпеян. – Только в два раза меньше.

Мне эта история понравилась больше, чем следовало.

* * *

В эти же недели я наконец узнал, где проводит дни моя дочь.

Фаустина сказала мне об этом с оттенком упрёка, как говорят о тайной связи:

– Лукилла ходит на Целий. Каждое утро, переодевшись в простое платье. К этой твоей врачихе.

Я спросил Руфа. Он замялся, потом признался. Принцесса пришла к Филе сама, на третьей неделе траура, с одной служанкой. Сказала: я не умею ничего. Научите чему-нибудь, что не требует фамилии.

Фила не стала расспрашивать. Дала ей таз, горячую воду и тряпки. Лукилла три часа мыла полы в женской палате, молча, и никто из больных не знал, кто она. Потом Фила протянула ей кувшин с водой и сказала, что сегодня достаточно.

– Завтра придёте? – спросила она.

– Да.

– Тогда завтра я покажу, как менять повязки.

Лукилла приходила каждое утро все девять недель. Научилась менять повязки, прикладывать влажные тряпки к горячему лбу, держать за руку тех, кто не хотел умирать в

одиночку. Фила говорила потом Руфу, что у принцессы лёгкие, внимательные руки и совсем нет брезгливости. «У неё много другого, чего ей не нужно, – сказала она, – но руки хорошие».

Я не знаю, что именно искала моя дочь в женской палате на Целии. Я думаю, ей нужно было место, где она могла делать что-то, не спрашивая разрешения у отца, матери или мужа. Место, где от неё зависело что-то одно, простое и видимое: чистая повязка или грязная.

Это я понял много позже.

* * *

Руф и Фила в эти недели почти не разговаривали.

Я узнал об этом от самого Руфа, нескладно и между делом. Он приходил в дом на Целии вечерами, после службы, и чинил то, что ломалось: подпирал просевшую балку, заменял дверной косяк, перевешивал полки. Фила его не просила. Она проходила мимо с тазами и узлами и только иногда бросала на ходу:

– Левее. Нет, левее.

Однажды, когда он вбивал гвоздь, она остановилась в дверях.

– Зачем ты это делаешь?

– Балка сломается.

– Не про балку.

Он опустил молоток.

– Не знаю, – сказал он. – Когда я с молотком, мне не надо

ничего говорить.

– Мне тоже, – сказала она. – Когда я с тазом.

Они стояли в полутёмной комнате друг против друга и оба молчали. Потом Фила сказала:

– Ты помнишь, что я ответила на форуме?

– Помню. Спросить, когда вернусь.

– Ты ещё не вернулся.

– Знаю.

– Тогда не спрашивай, – сказала она. – Я не хочу говорить «да» человеку, у которого завтра война. Вдруг скажу, а он не вернётся. Я хочу сказать это, когда это можно будет исполнить.

Она ушла в палату. Руф постоял, взял молоток и вбил гвоздь так, что дрогнула стена.

* * *

Свадьба была скромной, как я приказал, и от этого казалась ещё печальнее.

Я дал дочери в приданое всё, что осталось после торгов. Фаустина не пришла в храм. Я не стал её звать. Лукилла вышла в простом белом платье, с венком из вербены, и я вдруг увидел, как она похожа на мать в день собственной свадьбы: те же скулы, та же прямая спина, то же упрямство в уголках рта. Только глаза были мои. Не такие, как у Фаустины.

Помпеян ждал у алтаря. Он смотрел на неё не как на добычу и не как на принцессу, а так, как смотрят на нового командира, которого пока не знаешь.

После обряда они вышли на ступени. Лукилла остановилась рядом со мной. Муж, тактично, отошёл на несколько шагов.

– Отец, – сказала она.

– Да.

– Я хочу, чтобы ты знал, что я не злюсь. Я просто не забуду.

Я не сразу нашёл ответ. Потом сказал:

– Я бы не хотел, чтобы ты забыла. Это было бы нечестно по отношению к тебе.

Она посмотрела мне в лицо. Я увидел, что она удивлена.

– Я ждала, что ты начнёшь объяснять, – сказала она. – Про Рим, про армию, про долг.

– Я всё это уже сказал самому себе. Много раз. Объяснения помогают тому, кто объясняет.

Она кивнула и, не поцеловав меня, а просто на секунду коснувшись ладонью моей руки, пошла к мужу.

В ту осень я уехал на север. Лукилла осталась в Риме, ждать, пока Помпеян вернётся в Рим или вызовет её к себе. Я знал, что после свадьбы она не прекратила ходить на Целий. Я не вмешивался.

Письмо от неё пришло зимой, уже в Сирмии. Оно было коротким, и я до сих пор помню его почти наизусть.

«Отец. Помпеян оказался лучше, чем я думала, и хуже, чем я надеялась. Он добр и ничего не требует. Это тяжело. Я научилась делать повязки. Фила говорит, что у меня всё по-

лучится. Я не знаю, получится ли у меня что-нибудь в другом. Но я хочу, чтобы ты знал: я больше не девочка, которую можно отдать. Я не угрожаю. Я просто сообщаю. Береги себя. Лукилла».

Я перечитал письмо дважды. Потом положил его на стол и сказал себе, что пока ещё могу ответить. Что ответ найдётся. Что есть время.

Но ответа я так и не написал.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.